

БОР. ПИЛЬНЯК

ТАДЖИКИСТАН
СЕДЬМАЯ СОВЕТСКАЯ



14

БОР. ПИЛЬНЯК

ТАДЖИКИСТАН
СЕДЬМАЯ СОВЕТСКАЯ

О Ч Е Р К И
материалы к роману

Издательство

Писателей в Ленинграде

№ 164

Отпечатано для Издательства
Писателей в Ленинграде, в госуд.
тип. имени Евгении Соколовой,
пр. Красн. Командиров, 29, в ко-
лич. 5.200 экз., 3³/₄ л. Заказ № 163
Ленинградский Областлит № 983
Рисунок переплета М. Кириарского
1931

Таджикистан — седьмая по счету советская социалистическая республика. Первый — учредительный — съезд советов Таджикистана был в 1926 г. Таджикистан тогда вошел автономной республикой в республику Узбекскую. С прошлого года Таджикистан самостоятелен, седьмым по счету входя в СССР. Таджикистан, как известно, является отдаленнейшей от всяческих центров республикой Средней Азии.

СПРАВКИ ВЗЯТЫЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Субтропики: 37-й — 41-й градусы северной широты, Памир, Горный Бадахшан, границы с Афганистаном, Индией и Китаем. Впрочем, эти субтропики имеют климат — от климата Новой Земли (на ледниках хребтов Зеравшанского, Гиссарского, Петра Первого, Дарвазского и на плато Памиров) до тропического климата Индии (в Курган-Тюбинской и в Кулябской долинах). На Памирах летом — морозы, а в долинах 78 — на солнце — Цельсия.

Высоты: Монблан — 4.801 метр над уровнем океана, — Эльборус — 5.619 — и Таджикистан: Пик Ленина — 7.127, Пик Гармо — 7.495. Впрочем, на Памирах (а Памир есть крыша мира) есть места, в районе хребта Академии Наук, о которых на картах пишется: неисследованная область. Кроме гор, у Таджикистана есть долины, обильные джунглями: эти долины в километре над уровнем океана. Таджикистан лег на Памир, подпер Индию и с Памира («с Пами-

ров», как говорят там) хребтами Язгулемским, Ванчским, Дарвазским, Петра (это хребты Гиндукуша) и Алайским, Зеравшанским, Гиссарским (это хребты Тянь-Шаня) сходит в долины, заливая их водами ледников и засыпая тысячами лесса.

На картах есть места, которые обозначены: неисследованные области, и тем не менее карты указывают различными условными знаками, с пометками, что разрабатывается (уже разрабатывается!) и что имеется в залежах: золото (очень много, по всей стране!), медь, свинец, железо, серный колчедан и сера (я видел гору серы, которую можно колупать и жечь), графит, нефть (разрабатывается), каменный уголь (и лежит, и разрабатывается, и — горит в одной из горных долин, горит уже сотню лет, породив мистические легенды, свойственные средневековью), азбест, соль (и в камне, который ломают ломами и подбирают лопатами, и никак не подбирают, — и в соленых растворах озер, откуда соль выпаривают), радий, фосфориты, рубины (те знаменитые индийские, воспетые поэтами), минеральные источники (и железистые, и сернистые, и щелочные, такие, от мороза которых ноют зубы, и такие, в которых вода кипит 96 градусов Реомюра и таджики варят баранов), — на картах указаны долины и в долинах — лесс, лесс, лесс.

Там же, где лесс: хлопчатник.

В джунглях на Пяндже (джунгал — по-таджикски, тугай — по-русски) рыкают тигры.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА, ПОДЧЕРКИВАЮЩАЯ ТЕМПЫ

На карте Таджикистана есть указания: неисследованные области, — и это вполне понятно, почему это

так есть. Если бы Таджикистан лежал в Европе, о нем писали бы поэты начиная с Овидия или Данта.

Но Таджикистан, по существу говоря, не был даже императорской русской колонией, — хуже: он был колонией бухарского эмирата, называвшаяся Восточной Бухарою, и — десять, семь, пять лет назад — Таджикистан пребывал в жесточайшем средневековьи, таком же, как в Европе девятого-одиннадцатого веков, со средневековыми башнями замков, с сюзерено-вассально-баронской системой управления, в полнейшем бесправии крестьян (крестьяне называются декханами, и это слово перешло в русский язык на Востоке), в тех экономических отношениях, когда во всей Восточной Бухаре не было ни одного колеса, ни одной телеги и дороги заменялись тропами, по которым проходили верблюды, ослы и лошади, — декхане существовали тем, что производили своим трудом, а дань платили девушками для гаремов и на продажу да золотом, которое промывали вручную. Эта страна пребывала в жесточайшей простоте бекских гаремов и в жесточайшей простоте нищеты декхан.

И эта страна была плацдармом последнего, жесточайшего боя средневековья за свое варварство, равно как ныне эта страна есть плацдарм боя за социализм. Пролетарская революция докатилась до Бухары только в 1920 году, когда в Бухаре возникла Бухарская Народная республика. Эмир Олим-Хан, последний из Мангитов, человек, окончивший императорский русский пажеский корпус (эта справка нужна для дальнейших скобок), бежал в Восточную Бухару, подобрал с собою средневековье и оставляя за собою пепел и кровь. Целый год он скитался по Таджикистану, преследуемый революционными войсками. Он

взял с собою караваны золота, ковров и халатов, которые он увел в Афганистан.

(Скобки. Эмир окончил пажеский корпус. Эмир, взяв золото в караваны, потерял свой гарем, — и в каждом кишлаке, где он заночевывал, кишлак должен был поставить эмиру для постели семи-одинадцатилетних мальчика и девочку. Я читал об этом документы и мне рассказывал один таджик, что в одну такую ночь в мечети, где заночевывал паж-эмир Олим-хан Мангит, умерла его сестра, семилетняя девочка. Я взял это в скобки во утверждение средневековья и в честь пажа, проживающего ныне в Афганистане).

Эмир бежал из Таджикистана, прогнанный революцией.

Но вслед ему в Восточной Бухаре возник Энвер-паша, младотурецкий премьер, тесть падишаха, «святой генерал». Энвер объявил газават, священную войну. Энвер мечтал о пантюркизме. В помощь Энверу пришли «сикхи», англо-индусские войска. К Энверу приехали турецкие генералы. К Энверу перебежал, как бегали в средневековье, Усман Хаджаев, председатель ЦИК Бухарской Народной республики. Средневековье взяло свои мултуки (лищаля, стреляющие при помощи фитиля); просвещенность Англии прислала, кроме солдат, одиннадцатизарядные винтовки. Город Дюшамбе, ныне столица Таджикистана Сталинабад, был уничтожен Энвером; город Гиссар, средневековая столица Восточной Бухары, замков, был уничтожен Энвером.

Энвер закончил свою судьбу 4 августа 1922 г. революционной пулей в бою, — но только в ноябре 1926 года был создан первый — учредительный —

Съезд Советов Таджикистана, который и есть начало советского летосчисления этой страны.

(Могила Энвера известна. На ней написано неграмотной рукой: «Проклятие тебе, Энвер, проклятие тебе на веки, пусть твоя могила сгорит, и тело твое съедят змеи и скорпионы, а душа твоя пойдет в самую гущу ада!»)

От эмира и от Энвера остались: разбитые кишлаки и города, заброшенные поля, иссохшие и заболоченные ирригационные сооружения. Многие кишлаки были стерты с лица земли; города, имевшие тысячи жителей, остались с сотнями. Гиссар — столица — имел восемь тысяч жилых домов, но после Энвера в нем осталось всего семь семейств. Дюшамбе был в пыли пепла.

Средневековье прощалось с собою так, как могло и умело: разорением, насилием, кровью, огнем, пеплом, — и в стране осталось всего 50 процентов бывшего там населения.

В 1926 году, в ноябре, был первый учредительный Съезд Советов Таджикистана. Ныне Таджикистан — советская республика, седьмой по счету молодости входящая в Союз.

И ныне за Таджикистаном твердо укрепилось в быту название советского, социалистического Клондайк — Клондайк дел, темпов, быта.

Поистине Клондайк!

В эту страну, где пять лет тому назад не было ни одного колеса и нет их кое-где и по сей час, до Сталинабада и дальше в горы до Янги-Базара проведена железная дорога. Над этой страной, на севере связывая ее с Самаркандом и Ташкентом, а через них с Москвою, с юга связывая ее с Кабулом, а через Кабул — с Ин-

дией, летают самолеты—в Сталинабад, в Куляб, в Гарм (в Гарм, в котором сейчас нет ни одного колеса, но куда к весне будущего года придет шоссе. Когда в Гарм прилетел первый самолет, в ту минуту, когда его увидели в небе, от разрыва сердца умерли три человека: две женщины и мужчина). Пять лет тому назад, говоря по существу, не было дорог, ибо в этой стране ездили по оврингам (рассказ об оврингах дальше) и через реки переправлялись на бурдюках: сейчас веером от Сталинабада идут (и уже разбиты тракторами, и гудронированы, и их уже нехватает) автомобильные дороги, проложенные по скалам инженерами и динамитом, — на Куляб, на Курган-Тюбе, на Гиссар, на Гарм, на Ура-Тюбе, — дороги лезут на перевалы вечных снегов. Пять лет тому назад в Таджикистане не было ни одной европейской школы, кроме двух миссионерско-церковных: сейчас там есть техникумы и вузы. Ныне там латинизированный шрифт.

Теперешнему Таджикистану посвящены все эти главы.

Сейчас же предпоследняя справка, доисторическая: таджики, этот теснимый народ, живший некогда в долинах Средней Азии и на плоскогорьях Ирана, есть тот древний народ, который породил все иранские народы, всех европейцев. Что стало с нашими пращурами?

Этот народ был гоним персами времен Кира, Александром Македонским, арабами, монголами; последние, кто теснили таджиков, были узбеки. Таджики были оттеснены в горы, эти пращуры немцев, шведов и англичан; через тысячелетия таджики пронесли язык, имеющий общие слова с основными словами европейских языков и имеющий традиции,

источники которых, казалось бы, затеряны у европейцев, — например, традиции красить яйца по весне и прыгать посредине лета через костры, — таджики веснами красят яйца, меняясь ими, ничего не подозревая о христианстве, средневековьем, магометанством и горами оторванные от мира, и таджики прыгают по русальным традициям через огонь, очищаясь от скверны. Слово «диво», «дивус» по-латыни, на таджикском языке значит то же, что на русском—диво, дивный, — и таджиков в горах можно встретить — голубоглазых, точно они родились в Рязанском округе. В верованиях таджиков — магометан — сохранились следы огнепоклонничества. Заратустра жив еще в памяти этого народа: он жил в пределах древнего Таджикистана. Таджикский язык схож с древним фарсидским. Таджики живут не только в пределах своей республики: не меньшее количество таджиков, чем в Таджикистане, живет у афганцев, в северной Индии, в памирском Китае.

Древность лежала камнями веков, традиции не подтекали под эти лежащие камни, средневековье здравствовало пять лет тому назад, и всюду, направо, налево в этом Клойндаке, как горы с долинами, спутаны древности, средневековье, советская власть, аэроплан и овринги, университеты и паранджа (к слову надо сказать, что паранджою называется весь выходной костюм женщин, — волосяной же [мне хочется так выразиться: намордник] называется чашим-бандом). Средневековье и новое, новейшее, созданное человеком, нигде так не спутаны, как в этой путанице тысячелетий Таджикистана.

СЕМИГАНДЖСКАЯ БИБЛИЯ И ГИССАР

На днях в газетах сообщалось о том, что в Таджикистане, в районе Янги-Базара, было землетрясение, убившее около двухсот человек и много — за тысячу человек — оставившее без крыши.

Я был в Янги-Базаре и в его горных районах. У меня нет точных сведений, но надо полагать, что среди погибших был и Семигандж, этот горный кишлак, куда я ездил, чтобы видеть древность уже уходящую.

Социологическая проекция мне казалась несложной: субтропический климат Палестины, экономика бронзового века — Библия. Глаз подтверждал эту предпосылку. Мне указали древность, и товарищ Ниязов наркомзем ТаджССР, поехал со мною в кишлак Семигандж, оторванный отовсюду дорогами и временем.

Семьдесят градусов зноя четырех часов дня сталинабадской жары запыхлили пыльными кулябское шоссе и зарывали автомобилем на караваны, — так было до тех пор, пока автомобиль не уперся в лошину гор, недоступную автомобилю.

Мы пересели на коней.

Кони понесли нас в горы, в шумы падающих с гор ручьев, в рожицы грецких орехов. Лошади звенели подковами о камни тропинок. Гиссарская долина внизу — арыки Кафирнигана разрастались все шире и шире и уходили во мглу долинной пылищи. Подъем был круг, горные ключи падали водопадами.

Мы приехали в кишлак, где плоские крыши одних домов являлись дворами других, где все заглушалось шумом падающей воды и где шумел в чинарах и в громадах грецких орехов медленный ветер.

Это был Семигандж.

Высота подъема изменила воздух, сделав его сладостным, и изменила климат, принося прохладу.

Я был в средневековьи — и я был сам собою, потому что товарищ Ниязов, таджик из Дарваза, говорит по-русски так же, примерно, как я по-английски. У каждой мечети в кишлаках есть алаухана («комната огня»), предназначенная для приезжающих и для зимних досугов декхан, комната-гостиница, комната-клуб. Летом в Таджикики лучше жить на воздухе под открытым небом, ибо в ханах — и очень душно, и по летам там живут скорпионы. Мы приехали на двор мечети в тот час, когда вопил мулла. Человек десять стариков по команде муллы падали сами себе в ноги, эти старики в халатах и чалмах, эти голубоглазые старики, которые, посевев, начинают походить на настоящих европейских стариков чертами своих лиц. Товарищ Ниязов был здесь своим человеком, — старики, отворачиваясь от молитвы, приветствовали. Двор мечети был вытоптан копытами коней и ишаков, которые останавливались здесь на ночевку. Под чинарой разостланы были кошмы. Через двор, под чинарой и вниз под обрыв, протекал арык. Кишлак лежал под ногами. Вверху над головою поднимались вершины гор. Товарищ Ниязов провел меня в полутемное подземелье, скрытое от посторонних глаз, — там падал, вделанный в колоб, студеной ключ, там было прохладно. Товарищ Ниязов библейски предложил мне смыть с себя пыль, сказав, что эта пещера сделана для путников. Я вспомнил арабские поселки в Палестине: те ощущения, которые были у меня, были оставлены во мне чтением Библии. Я библейски смыл с себя пыль студеной водою.

Старики кончили молиться, приветствовать нас пришли комсомольцы. И у стариков и у комсомольцев на пальцах были кольца. У стариков за кушаки халатов были заткнуты цветы. Старик подарил цветок мне. По улице, зажатой глиняными стенами домов, где ни одно отверстие, кроме низенькой дверцы, не выходит на улицу, проезжали верхами на ослах с полей, с работы декхане. Пригнали стадо; женщины встречали своих овец и коров, и женщины, замечая меня, стоящего над ними, опускали свои чашим-бандом. Улица, этот желтый скучнейший песок, которым она была ограничена, ни одного окна; этот глиняный кишлак, построенный без единого гвоздя, где крыши одних домов были дворами других, где все сокрыто от глаза постороннего; эти ослы, на которых ехали мужчины, это стадо, которое встречали женщины в шальварах и паранджах, — все это было из Библии.

Старики разостлали нам кошму под чинарой; мы и старики сели на кошму, сняв уличную обувь, подогнув под себя ноги. На костре согрели чай. Солнце село быстро; костер заменил солнце. Чай разлили по пиалам в ожидании плова. Плов готовили здесь же, на костре, эти рис и баранину, приправленные специями. Обо мне забыли в разговоре; товарищ Ниазов не успевал переводить и бросил затем свои переводы. Подали плов. Мы, все вместе, ели плов руками; это — еда плова руками — такое же искусство, как искусство владеть европейскими ножом и вилкой и китайскими палочками. Я рассматривал (назавтра я это подтвердил, зашед в несколько домов в гости к вечерним друзьям): в обиходе не было вещей от индустрии — даже нож, которым резали барана, был

кустарного происхождения, ванчский, — только пиалы были от индустрии — дулевского российского фарфорового завода и китайские.

Я рассматривал комсомольцев и стариков, лица которых вырезаны были светом костра, — с эрэсэфсерским крестьянином сравнить их нельзя — эрэсэфсерский крестьянин причесывается фабричной, а не сделанной вручную, деревянной, гребенкой, у российского крестьянина полагается ложка, и ложка не похожа на папуасскую пирогу с веслом на боку, как та одна-единственная, которой размешивали плов, пока варили, — у российского крестьянина стекла в окнах и на ногах какие-ни-какие сапоги, а не муки, состоящие из овечьей кожи и сшитые овечьими жилами, — но эрэсэфсерца и таджика сравнить нельзя и потому, что жесты таджиков, их движения, их манера держаться и говорить, их сдержанность и медленное достоинство, цветы за кушаками их халатов, кольца на их пальцах — все это указывало на старую какую-то, освященную и утвержденную традициями (пусть оживающими) культуру, которой россиянин похвалиться не может. У моих собеседников всячески подчеркивалась эстетика. И разговоры, хоть я мало их и понял, касались исключительно общих тем, общественных событий, разных сказок и присказок. Наутро к наркому приходили просители: в вечер плова не было их ни одного. Ни словом ни полунамеком не касался разговор женщин, тех, которые скрыты паранджами и глинобитными дувалами (заборами) домов.

Ночь пришла криком ослов, этим ужасным криком, похожим на испорченный автомобильный гудок, когда шофер гудит в него, вызывая из дома на улицу за-

поздалого седока. Прокричал филин. Сильнее зашумела падающая вода. Воздух был необыкновенен своею прозрачностью; звезды нависли на горы — такое количество звезд, точно им тесно на небе и точно небу тяжело под ними; и к ребрам, с той стороны, куда не светили огни костра, подступил холод.

Нам принесли одеяла, подушки, ватные халаты.

Старики и комсомольцы распрощались с нами до рассвета, прощались, прикладывая вместе сложенные руки к сердцу, и ушли. Мы остались вдвоем. Рядом хрустели сеном и позвякивали стремями лошади. На кошме мы разостлали одеяла, положив их под себя, и легли, прикрывшись ватными халатами. Звезды спустились к ветвям чинары. По существу говоря мы заснули вместе с солнцем и с библией, утвержденной криком ослов, заменяющих часы.

Утро нас разбудило воплями муллы и блистательным, всеободряющим солнцем. Горы нависли синевою вершин и прохладою. Воздух мог колотиться как нарзан. Наши хозяева принесли нам в хурджунах винограду, яблок, фисташек, миндаля, нарванных в это утро.

Мы пошли в гости. За каждой низенькой калиткой возникал мир, целый мир, ограниченный глинобитными стенами. Опять я видел библию — библию приветствий, библию домов, построенных средневековьем без гвоздя и молотка индустрии, библию конюшни, коровника, ослятника и овчарни, библию первобытнейшей бедности, омача вместо плуга, дыры в небо вместо окна в мазаных из глины домах, покатога двора с арыком — такого двора, который не предусмотрен для телеги, — свежих, сорванных и убитых в это утро — миндаля, винограда, барана. Женщины, когда мы вхо-

дили во двор, испуганными мышами, пряча за локти лица, убегали на женские свои половины, которые не полагалось не только видеть, но и ощущать. У грудной девочки, которая осталась на кошме под навесом террасы, были наведены чернейшие брови и ногти ее были выкрашены в киноварь: я увидел, что и у многих мужчин ногти также накрашены. Женщины были в шальварах.

(Сейчас, когда пишу, я вспоминаю о девушке в Кала-и-Хульбе, в Дарвезе, которая пришла туда с Памира и пробиралась в долины, чтобы учиться. Я никогда не забуду глаз этой женщины — глаз боярыни Морозовой с картины Сурикова, — глаз подвижницы. Эта девушка с Памира уходила к знанию. Об этом — дальше).

Я видел библейскую древность.

Газеты принесли известия о землетрясении, на основании которых, по всем вероятностям, надо полагать, что Семигандж разрушен, этот средневековый кишлак первобытного хозяйства и древних человеческих, варварских (паранджа! мечеть!) отношений. Сейчас — в землетрясении — средневековье разрушается геологией, космосом.

Но во всей этой стране семь, десять лет назад было поголовное средневековье, — и я был в Гиссаре, чтобы увидеть средневековье.

Гиссар — столица гиссарского бекства, богатейшего в Восточной Бухаре; в честь Гиссара названы долина и горный хребет ледников; о Гиссаре писали древние. Восемь лет тому назад Гиссар был бекским замком. Восемь лет тому назад Гиссар был разрушен Энвером. В двадцать шестом году в Гиссаре жило всего семь семейств.

Мой конь нес меня хлопковыми плантациями Гиссарской долины. Конь пронес меня невероятным зноем дня. Я проехал мимо кишлака прокаженных, и впереди в зное полдней я увидел холм над кишлаком и на холме развалины замка.

Я был один.

Без дороги, рвами, я въехал в пыль и глиняные стены улицы. За разрушенным дувалом на огороде женщина кормила кур, — она была без покрывала и она не отвернулась от меня, глянув безразлично. Улица была пуста. Навстречу мне проехал таджик верхом на осле. Улица свернула направо, расширилась и превратилась в развалины. Я ехал кладбищем развалин. Я выехал на площадь с развалинами медресе. Я свернул к замку. Мой конь полез на подъем к крепостным воротам. Ворота были разрушены.

Я въехал в замок и — ничего, ни одного уцелевшего камня, ни одного уцелевшего рва, ни одной уцелевшей стены, — ни одного кустика, даже полыни не было, — ни одной, ни единой живой души, даже не было ящериц. Казалось, что люди отсюда ушли не восемь лет тому назад, а тысячелетие — смерть, пустыня, раскаленный зной. Я объехал обрывы стальных развалин. Восстановить прежнее возможности не было.

С холма я видел развалины вокруг, — только в одном, новом месте стояло несколько белых европейских зданий под молодыми тополями — исполкома, школы, хлопзавода, — но это было новым, пришедшим после двадцать шестого года.

В замке нечего было делать; я спустился к развалинам города и поехал без улиц, с развалины на раз-

валину. Все было мертво. Даже образа прежнего не было сил восстановить.

Так — Гиссаром, Энвером-пашою — средневековье простилось с варварством — разрушением, от которого ничего не осталось, которое нельзя восстановить даже в фантазии. Власть средневековья ушла из своих замков так, что там не осталось даже полыни, даже ящерицы.

Я выехал за развалины и карьером помчал к холмам, к гиссарскому зерновому совхозу, где ждал меня мой спутник. В развалинах Гиссара я ничего не оставил и ничего не забыл. Конь мчал холмами, из края в край изборожденными сплошной пахотой совхоза.

Пшеница была уже сжата.

В ложине между холмов я увидел трактор, молотилку около него и многоэтажные горы соломы.

А через полчаса я спускался, я сказал бы, к заводу совхоза: внизу под холмами стоял белый дом общежития, казармы конюшен и горбатый гараж, перед воротами которого выстроились в ряд тракторы. Арыки охватили огородные плантации. Земли в Гиссарской долине плодородны необычайно, до неправдоподобности: дерево вырастает здесь за год так, как в иных местах за пять лет. Завод совхоза был засажен аллеями деревьев, уже разросшихся. Мой спутник, сводя коня на шаг (я гнал, чтобы стряхнуть с копыт коня пыль кишлака прокаженных и гиссарского замка), сказал мне, что весной прошлого года здесь ничего не было, кроме полыни.

С древневековьем — кончено.

ВЕТЕР АФГАНЕЦ

Таджикистан встретил меня ветром.

От Ташкента, чрезвычайно скучного города, до Сталинабада, города клондайкского, поездом — трое с половиной суток езды, самолетом — пять с половиной часов лету.

Самолеты улетают всегда на рассветах; и на рассвете на Юнкерсе, под командой пилота Романова, мы вылетели из Ташкента. Первой посадкой был аэродром где-то под Самаркандом. Этот аэродром расположен за Зеравшанским оазисом, стало быть расположен в пустыне. В пустыне стоит белый европейский дом, с неевропейски-плоской крышей, — аэро-станция. Татарка подает чай и яичницу. К дому из Самарканда приходит разбитый фورد. К дому из-за каких-то километров в бочке на лошади привозят воду. Мы пробыли на станции четверть часа стакана чая и яичницы; пошли к самолету, чтобы лететь дальше, — мотор уже ревел, — и тогда прибежал начальник станции с телеграммой в руках.

Телеграмма из Термеза сообщила кратко:

«Афганец полет нуль».

Мы вернулись на станцию.

Через час прилетел второй самолет, под командою Семенова, из Афганистана. На рассвете следующего дня прилетел третий самолет, под командою Левченко.

Телеграммы приходили через каждый час, сообщая об Афганце. Каждый час мы могли полететь дальше, и все мы, двенадцать человек пассажиров и шесть человек летного экипажа, ожидая телеграмм, сидели в пустыне на станции. Так просидели мы на самаркандском аэродроме трое суток.

Телеграмма — «Афганец полет нуль» — спасла нас от аварии.

Из Афганистана, из Индии последние порывы индие-океанских пассатов; налетает на Среднюю Азию иной раз ветер, который вообще в Средней Азии называется Афганцем, а таджикскими декханами — гармсилъ (горячий, сжигающий ветер).

Этот ветер несет нестерпимое удушье зноя, — это не особенно страшно для самолета. Этот ветер поднимает лессовую — мельчайшую — пыль; пыль поднимается на несколько километров в небо — возникают пыльные туманы, когда человек не видит человека в пяти шагах от себя.

Декхане считают этот ветер проклятием, потому что зной его и раскаленная пыль уничтожают все дышащее. Этот пыльный туман значим уже для пилотов, потому что пилоты не видят, куда им лететь, и потому что пыль лезет в моторы, задушивая их, — и затем для пилотов значим ветер сам по себе, этот стремительный ураган зноя, мчащийся так, точно он хочет передуть с места на место самих Гиндукуша и Тянь-Шаня.

Пустыня за аэростанцией обжигала зноем и валила с ног. Кроме желтого неба да двадцати шагов аэродрома направо и налево, ничего не было в мире. Но из пустыни шли тысячи звуков, необыкновенных арф, необыкновенных рыданий, необыкновенных песен, визгов и плясок. Мы отсиживались в зале аэро-станции, где в расчете на Афганца заготовлены были для пролетающих мимо койки с перинными (почему?) матрацами. Мы пили вечный чай-кабуд, мучась удушьем, бесцельно спали и разговаривали круглые сутки.

Ветер и разговоры вызывали ощущение русской метели дней до половины девятнадцатого века, времен почтовых станций и пушкинских стационарных смотрителей, — страшного одиночества и страшной зависимости от — вот от этого — ветра. Но этот же ветер дал мне ощущение Таджикистана, его напряженность есть камертон Таджикистана теперешнего, европейского, строящегося, срывающегося, отступающего и наступающего и — первым, решающим образом — побеждающего, идущего в очень большом напряжении воль и дел из средневековья и Библии — прямо к социализму. Над Таджикистаном дует ветер воль.

За три дня ветра мы все рассказали друг другу, как подобает на заметеленных станциях.

За разговором первым делом стали герои — пилоты. Пилоты рассказывали о неизученных горах, о неизученных аэроплощадках, о полетах на Памир и к Памиру, — говорили о своих делах на первобытной земле и в воздухе, об Афганце, об авариях, о событиях в воздухе, когда самолеты в воздухе превращались в тех серафимов, у которых одни крылышки и нет такого места, которым садятся. Было совершенно ясно, хотя этого сами пилоты и не чувствовали, что эти пилоты — конечно, герои; героизм их создан условиями и местами полетов, потому что эти люди водили самолеты там, где нет дорог для колеса телеги и от зрелища самолета в разрыве сердца умирают люди, — пилоты водили совершеннейшее изобретение человеческого мозга в почти сегодняшнем средневековьи.

Из слов пассажиров, летевших в Таджикистан, возникали невероятности. Агроном рассказывал об охоте на кабанов, о том, что капитальные земельные вложе-

ния в этом году в Таджикистане, по сравнению с прежним, возросли на полторы тысячи процентов, — и советовал сейчас же с аэродрома в Сталинабаде ехать в красную чайхану, которая помещается под тысячетлетним чинаром на свежем воздухе, ибо, по уверениям агронома, достать комнаты в Сталинабаде возможности нет за его переуплотненностью, когда целый ряд государственных учреждений имеет свои конторы также под кустиками. Сердце охотника описывало кабаньи, фазаньи, оленьи, джайраньи (антилопы), диких лошадей стада.

Инженер рассказывал о грандиозном ирригационном строительстве.

Второй инженер рассказывал, что пять лет тому назад в Сталинабаде не было ни одного европейского дома, а теперь это европейский город. Он же говорил, что по сей час в Сталинабаде ведро питьевой воды — рублевка, но к октябрьской годовщине в этом году будет водопровод; мясо же стоит тридцать пять копеек фунт.

От инженеров же я узнал, что в Таджикистане нет заборных книжек и каждый может покупать в кооперации по своим аппетитам. В разговоре об аппетитах я узнал о «длинных рублях» (так называются легко зарабатываемые деньги) и о жулье, которое едет в Таджикистан на длинные рубли (некий инженер купил себе шелковых материй на восемь тысяч рублей и собрался везти их в Москву, — на память, конечно, о таджиках!).

Агроном, вспоминая об охоте, рассказывал о дорогах в Дарвазе, в стране, которая названа в честь дарог, ибо слово дарваз значит — канатоходец, и в Дарвазе действительно есть горные переходы над пропа-

стями, где люди лезят по канатам, сплетенным из ивовой лозы.

Инженер, рассказывая о темпах строительства в этой стране, которой всего пять лет, рассказал о способе работ там, когда этой весной однажды, в дни полевой кампании, Совнарком мобилизовал все транспортные средства Сталинабада так, что наутро в городе не осталось ни единой лошади, ни единого автомобиля, ни единого ишака, — извозчицьи пролетки, ишаки, автомобили потащили по посевам и хлопковым плантациям таджиков, русских, узбеков, арабов, афганцев, — всех кого следовало, а наркомы и прочее начальство наутро пошли в учреждения пешком.

Агроном рассказывал о золоте на Вахше и Хингоу, которое видно в песке, если песок пересыпать на ладони.

Мы пребывали на аэростанции: самолет есть величественнейшее. Кабаньи стада агронома — этими днями афганского станционного зрителя — спутались в моем сознании стремлением ветра. Пилоты бодрствовали, разрушая понятия средневековья. Ветергонимых в ночь на полевную таджиков, русских, афганцев — на пролетках, на ишаках, на автомобилях — есть гарм-силь социализма Таджикистана.

Так, Афганцем, меня встретил Таджикистан.

Ветер лег, звуки пустыни стихли, лесс осел на землю, — самолет ушел в небо.

Сталинабад — этот фантастический и до краев переполненный людьми город — действительно на первые сутки встретил меня бездомовьем. Но об этом — и об этом городе — дальше.

Первое ж, что я понял в Таджикистане, — это:

ВОДА! ВОДА!

Памяти о доисторическом человеке находятся около воды.

История человечества, письменность, писанная история начались около ирригационных сооружений, вместе с ними, Средняя Азия рек Аму- и Сыр-Дарьи, равно как Ян-Цзы, Нил, Тигр и Евфрат, были колыбелью человеческих культур. Аму и Сыр протекают по Таджикистану, — Пяндж и Вахш, реки, которые, сливаясь, образуют Аму, суть основные водные артерии Таджикистана.

В долинном Таджикистане, там, где нет воды, там пустыня, зной, пески, ничто не растет, кроме саксаула, никто не живет, кроме черепах и ящериц, — смерть, ничто, пустыня.

Там, в долинном Таджикистане, где есть вода, там фисташки, миндаль, грецкий орех, гранат, сотни сортов персика, винограда, всяческих фруктов, — арахис (китайские орешки, которые, оказывается, растут у корней и родина которых тропики — Бразилия), кенаф, кендырь, рами, джугара, люффа, клещевина, соя, сахарное сорго, сафлор, бамия, джунгут, гвайола, кастровые кусты (о каждом из этих технических растений следует писать страницы, со справками, куда более сложными, чем о китайском орешке), — пшеница¹, рис, хлопок. Я перечислил никак не более одной пятидесятой растений и деревьев.

Вода породила историю человечества — и вода есть решающее в Таджикистане, как и во всей Средней

¹ По исследованиям академика Вавилова, Таджикистан является родиной пшеницы.

Азии, ибо не только растения и животный мир, но и человек, не могут быть без воды.

(О богаре — особо — дальше).

Человек севера не представляет себе, что такое ирригационные сооружения субтропиков. Пусть человек севера поможет мне рассказать ему об этом.

Сооружениями, которые называются головами арыков и которые в старину делались десятками лет и тысячами людей под управлением полубожественных мирабов, навыками опыта, а ныне делаются инженерами и рабочими математическим расчетом, — от рек отводятся рукава, иной раз сами по себе представляющие реки, но эти реки текут по ложам, выверенным по ватерпасу и прорытым человеком, и эти реки называются головными арыками. Направо и налево от головного арыка вырыты, и выверены по ватерпасу, и в голове своей, рассчитанной математически, вооружены бетонными (а иной раз и деревянными) шитами в роде тех, которые у северян бывают на мельницах, чтобы регулировать воду. — от головного арыка идут арыки второго порядка, от арыков второго порядка — порядка третьего, четвертого, пятого, — пока мельчайшие арыки не дойдут до полей, также выверенных по ватерпасу. Если пустить воду сразу во все арыки второго порядка, вода сразу иссякнет, — также и с третьими и четвертыми, — и у техника, сменившего мираба, в голове арыка, — сложнейшие расчеты воды, на какое поле дать сегодня, на какое завтра, телеграммы, курьеры, нарочные, телефон.

При феодалах вода была основным рычагом крепостного права: мирабы феодализовали, вода продавалась отдельно от земли, — и вода стоила дороже земли, и мираб мог душить или не душить — тех, кто

ратал на полях, поливаемых водой мираба. Советский Таджикистан национализировал воду, — и понятно, что вода, которая из древности тысячелетий, несмотря на мирабов, доставалась коллективным трудом декхан, недоступная труду одного человека, выработала у декхан коллективистические инстинкты, а последние и есть залог успешного проведения колхозных мероприятий.

Древность и средневековье командовали водою по навыку опыта и традиций. Советский Таджикистан послал к воде гидротехников. Метеорологи, сменившие гидротехников, полезли в горы, чтобы узнать места рождения рек, изучить ледники, их историю, их образование, чтобы изучить климат ледниковых стран, рождающих реки, чтобы поставить там метеорологические станции. Гидротехники-практики, сменившие метеорологов, строят новые головные арыки, где водный расход точно учтен и вода подчинена человеку. Гидротехники, смененные агрономами, на мельчайших разветвлениях арыков, на полях и на опытных станциях изучают, отказываясь от традиций средневековья, способы рационального полива растений, — этих способов десятки, ученые проливают на них свои мозги, — способы фашинной поливки, способы фашинной покрывки борозд, способы завалки борозд, — расчет сроков подачи воды, расчет количества нужной воды, — расчет пахотных горизонтов. Все это надо проверить наукой и тем, что дает здесь природа, — и все это надо применить к трактору — к коллективному хозяйству — к социализму.

В Таджикистане на опытной станции имени Икрамова, под командой американца Фербея, изучают наиболее рациональные способы посадки, полива, выращива-

ния хлопка, льна, арахиса, сорго — джугары — люффы (люффа — это тот огурец, из которого делают мочалки для мытья, люффу).

На опытной станции при рисовом совхозе имени нынешнего предсовнаркома, товарища Абду-Рахима Ходжибаева, русские агрономы перетряхивают традиции тысячелетий, изучая сорта риса, способы их посадки и соответствие их таджикским долинам.

Пять лет тому назад, два года тому назад — всего этого, этих станций, не было в Таджикистане.

Там, где вода, — там цветущие оазисы садов и плантаций. Там, где нет воды, там пустыня и смерть. Древние, когда нападали на эти страны, не брали городов, но разрушали головы арыков, оставляя тем самым города и оазисы без воды. Последними так делали императорские русские, когда завоевывали Среднюю Азию, — они пушками громили головные арыки.

В каждом городе Таджикистана, в каждом кишлаке, около каждого дома журчит арык, над арыками свешивают свои ветви чинары и урюк. Под старейшей чинарой в каждом кишлаке устроен хаус — бассейн. Над хаусом и под чинарой построена чайхана для отдыха в зной, ибо идеал таджика — по пословице — «ляб-и-хаус, у бог, у шамоль» — пруд, сад и ветерок.

Мне известен эпизод, который вскрывает значимость воды. Это было с колхозом Стора-и-Сурх (Красная Звезда). Сто четыре человека с гор пришли в пустыню к ящерицам, переселенцы. Они пришли в земли, которые никогда не были заливаемы водою. Они пришли туда в так называемую зиму, в январе. Все было оформлено. Люди построили соломенные шалаши и стали работать. У них был настоящий энтузиазм. На пятистах га (это — очень большие земли,

когда они выверены по ватерпасу!) эти люди рыли арыки, несколько десятков метров больших и малых канав, строгая система ватерпасных расчетов. Этот колхоз должен был быть хлопковым колхозом. Сто четыре человека, пришедшие с гор, навсегда порвавшие с горами, принесли с собою в пустыню семена. В день, когда все было готово к поливу, когда труды десятков километров арыков были закончены, председатель колхоза, гордый, отнявший у пустыни пятьсот га, пошел в город, в водхоз, чтобы сказать, что все готово, и что, мол, пускайте воду, — и чиновник в водхозе, перерыв бумаги и таблицы, безразлично сказал, что колхоз Стора-и-Сурх не предусмотрен водхозом, не внесен в списки, что колхозу Стора-и-Сурх вода дадена не будет. Не стоит комментировать слова чиновника, за которыми для колхоза стали: смерть, бессмысленность труда, сотни часов канав, зной и голод, — смерть! Несмотря на безразлично-усталый ответ чиновника воду колхозу дали, — и вот, когда вода появилась на полях колхоза, ее встречали все сто четыре человека, среди которых были дети и женщины, — вода прибывала, вода потекла по арыкам, — сто четыре человека, ночь и день ждавшие прихода воды, побежали за водою, крича только одно слово:

— Об! об! (вода! вода!) —
и — плача.

ТАДЖИКИСТАН ДОЛИННЫЙ

Это — Таджикистан Кураг-Тюбе, Арала, Джили-Куля, Кабадиана, Сарай-Комара, Пархара, Куляба, рек Кафирнигана (неверный), Вахша (дикий), Кизыл-су (красная вода), впадающих в Пяндж, грани-

чащий с Афганистаном, — области пестрейшего населения — таджиков, тюрков, туркменов, узбеков, локайцев, афганцев, индусов, арабов.

Это — места жесточайшей гражданской войны и строительства наново, где каждый город наново перестраивается, где строятся совхозы, колхозы сплошного хлопчатника и строятся заводы, новые ирригационные сооружения, гидростанции, куда через горные перевалы лезут дороги, а по дорогам — автомобили, телеги, ишаки, караваны верблюдов, люди на своих на двоих, удачники и неудачники, спиртоносы, рабочие, инженеры, работницы, тысячи людей, зной, пыль, серая вода.

Автомобиль пришел к закату. Товарищ Лисин, аппо ЦК и я сели на форд, сунув в ноги свои котомки. Шофер, товарищ Николай, трижды обернул вокруг своей головы кепку, покрыл вселенную матом, неизвестно кого обозвал «з-зар-разою» и повел машину.

Тут сразу надо сказать, что шоферы в Таджикистане — разбойники и подвижники одновременно: таким был и товарищ Николай, машина у которого двигалась бензином и матом, при чем мат многожды перепал и на нашу долю. Всю дорогу Николай утверждал, что дороги эти для ишаков, а не для автомобилей, и предлагал нам катиться на ишаках, — и он был полуправ.

Дорога, по которой мы ехали, пробита два года тому назад и разбита теперь вдребезги, — сейчас ее исправляют и гудронизируют, а ехать поэтому надо уже совсем без дороги — по ухабам обочины.

И пыль, пыль! — это понятие не только физическое — пыль есть вещь психического маразма. Пыль лежит по дороге — без преувеличений и без обра-

зов — на полметра. Шофер едет по пыли как по воде, потому что он не видит колдобин под пылью, а лесовая пыль легка как пух. Пыль из-под автомобиля летит густейшим дымом. Если ветер дует в спину, автомобиль не может итти, на каждой колдобине пыль обгоняет, и шофер не видит дороги, ничего не видит, даже руля, в дыму пыли. Но все равно, если ветер дует в лицо или в бок, все равно через три минуты езды, через пять минут ходьбы, все запыляется пылью, этой библейской, которая заставляет сначала мыть ноги, затем все остальное. Пыль лезет в ноздри, рот, уши, глаза, за белье; от пыли в этом зное нет спасения, пыль действует как мания преследования. Но по дороге через небольшие километры обязательно прорвался арык, вода вытекла на дорогу, лесовая земля впитала в себя воду, — автомобиль влез в эти кисели, и автомобиль забуксовал, и шофер лезет по пояс в грязь обвязывать колеса веревками.

Обочинами гудронизирующегося шоссе мы подъехали к переправе через Кафирниган. И с той и с этой стороны стояли сотни людей, лошадей, верблюдов, ишаков, арб. Автомобили переправлялись без очереди. Наш Николай вцепился в горло шоферу с грузовика, пришедшего раньше, доказывая первенство циковской машины, — шофер с грузовика отмазывал свое право утверждением, что он везет для банков деньги. Каюк от того берега к этому шел часа полтора. Автомобилей и шоферских воплей с того и с этого берега собралось по веренице, каюк брал по одному автомобилю. Мы видели, как обалдевшая в ожидании компания осетин (осетины — главные спиртоносы) решила на телеге переправиться вброд — через этот дикий, вырвавшийся с гор, неверный Кафирниган. Те-

легу опрокинуло сейчас же, люди закричали в ужасе, лошади разорвали построжки, — мимо нас со скоростью курьерского пролетела телега, сундучки с добрами, котомки, мешок с зерном, — по берегу карьером, на карьере раздеваясь, помчали таджики, чтобы вплавь вылавливать добро.

(Это было в июле. Когда я в августе еще раз переезжал через Кафирниган, там построен был мост и никакого скопища людей не было).

За Кафирниганом, помявшись москитным удушьем джунглей (тугаи по-русски, джунгал по-таджикски), мы полезли в горы Бабатага, в лессовые выжженные солнцем морщины земли. Солнце в Таджикики садится сразу, сразу приходит мрак. В кишлаке Кокташ в школе по-европейски ярко горели окна, а у чай-ханы стояли автомобили с тюками.

Шоферы и путники советовали не ломать гелов и заочевывать.

Мы полезли на перевал. Над нами были громадные звезды, да фонари автомобиля вырывали у мрака обвалы скал, дорогу, пробитую динамитом, караваны верблюдов, фисташковые заросли. Перевал назывался Пограбадским. Наверху задул холодный ветер, перебрал лопатки. В полночь мы спускались в ущелье Даганаки. Этой весной по этому ущелью прошли силевые (снеговые, горные) воды, разрушили дорогу, разбили грузовик и трактор, не успевшие спастись, сломали все на своем пути. В узком ущельи само небо превратилось в щель; мороз перебирал лопатки; машина жуком лезла по глыбам камней, навороченным силем; фонари щетинили понурые стены ущелья. Около шоссейной станции в ущельи была чайхана. На кошмах спали люди, погонщики верблюдов, шоферы, бри-

гада трактористов. С перевала, из Даганикского ущелья погнал нас мороз.

В Уялах, опять в лессе, мы долго стучали в ворота хлопкункта, милиционер-таджик не понимал по-русски. Нас провели под навес, где горами свалены были семена хлопка, мягкие, покрытые пухом ваты, и теплые. Я зарылся в зерно, оставив воздух (и москитам) только нос. На рассвете мой спутник, до синевы изъеденный москитами, разбудил меня, чтобы я послушал шакалов. Шакалы воют отвратительно, этот вой нестерпимо-подхалимственен, — шакалы выли под самым забором, в десяти шагах от нас,

С рассветом, когда солнце победоносно несло зной, мы поехали дальше. Широчайшим простором легли перед нами долины — Яванская, Курган-Тюбинская.

Влево осталась дорога на Арал (остров). Арал есть район сплошной коллективизации, на машинотракторной станции там сто пятнадцать тракторов-интернационалов.

Налево из ущелья вырвался Вахш (этот дикий); там, в ущельи, идут изыскания и туда подвозят материалы для строительства гидростанции, которая осветит и наполнит силой это золотое дно вахшских долин. Автомобиль шел к вахшской переправе, где я и мой спутник должны были расстаться с ним. На минуту в небе над землею, над пылью, в зное возник фантастический город: мираж. Вершины гор оставались позади. Очень далеко в горах белел снег.

В удушьи, в раскаленном зное, когда единственное желание — пить! пить! пить! — мы подъехали к вахшской переправе. На этом берегу Вахша у переправы (с той стороны в двенадцати верстах город Курган)

возникло целое поселение под брезентом и тесом — дортрансовский гараж, несколько складов, заваленных всяческими материалами, столовая, чайные, опять склады, отделение милиции, кибитки, шалаши, палатки — и около них больше тысячи идущих и едущих людей. Зрелище являло собою обстоятельства совершенно необыкновенные: это не было ни базаром, ни ярмаркой, ни городом, ни табором, и было всем этим вместе взятым. Под обрывом с ревом, быстротою курьерского гоня воды, мчался — дикий — Вахш. Вода была серой от взбаломученного ила. По воде текли — в зное субтропического июля — куски льда, сорванного с гор. Мы приехали к семи утра, — только к трем часам пришел первый каюк. За эти часы я видел изнанку Таджикистана, которая все же мне кажется положительной. За эти часы мой спутник потерял равновесие духа, решил бросить свое путешествие и возвращаться на автомобиле обратно. На берегу было смешение народов — таджики, русские, турки, арабы, афганцы, лезгины, татары — люди, пришедшие работать и уходящие с работы в этом Клойндаке. В столовой под тэнтотом, за кушаньем, которое называется по-таджикски ералаш, собрались инженеры, изыскатели, статистики. В Курган-тюбинской долине, равно как и в Кулябской, запрещена торговля водкой: между людьми шмыгали спиртоносы.

Сойдя с машины я пошел к реке — мне хотелось пересыпать на ладони вахшский песок: действительно, в песке заблестали мельчайшие золотые крупинки, — золото, несомое Вахшем. От реки несло простором, бумом и холодом. Все было завалено людьми. На пригорке в двух шагах от меня стоял милиционер, в тибетейке, в форменной гимнастерке, в розовых тру-

сиках, с наганом, в ичигах. Рядом со мною сидела широконосая русская женщина, любовалась рекою.

За забором стоял рабочий-сезонник. Он вынул из кармана газетину, развернул ее, вынул из нее пачку двадцатирублевков, очень солидную, отсчитал две двадцатирублевки, — не оглядываясь крикнул:

— Эй!

Подбежал осетин.

— Бутылку! — молвил рабочий и сел на землю в тень забора — ожидать.

Под тэнт столовой прибежал весельчак, крикнул:

— Идите смотреть, как тонуть будут!

Ожидание каюка — вещь утомительная, особенно когда нет уверенности, что ты на него попадешь хотя б завтра, в порядке живой очереди. На том и на этом берегу сидели таджики с турсуками — с бурдюками, надутыми воздухом. Таджики-турсукчи (перевозчики) предлагали свои услуги: на турсуках, привязанных к палкам, они перевозили людей на тот берег. Для этого надо было раздеться, сесть и ухватиться за турсуки, проститься со всем земным и мчаться по воде в расчете, что течение выбросит на тот берег (я переправлялся на турсуках, только более усовершенствованно: при помощи лошади). Таджики переносят лед воды; так называемые там европейцы — русские — получают от этой ледяной воды сердечные разрывы: в среднем в те дни на Вахше мерло от турсучных переправ (и от аварий, и от сердечных разрывов) по человеку в сутки.

Мы вышли к берегу посмотреть на очередных смертников. Два таджика и трое русских прилаживались на этом, в квадратную сажень, турсучно-палочном пароме. Вода сразу оторвала от берега людей, понесла,

обдала волной. Один из русских закричал истошным ужасом, — их пронесло мимо выступа на том берегу, куда причаливал каюк. Знающие люди сказали:

— Теперь их верст пятнадцать понесет. Опасное место пролетели. Теперь неизвестно, закоченеют или нет.

Мой спутник в этом месте окончательно решил возвращаться обратно — к превеликому неудовольствию шофера Николая.

Каюк пришел к трем часам. Каюк шел так же, как турсуки, — волею течения. Каюк на Вахше — большая баржа. Сотнею бурлаков каюк заводится высоко вверх, в место, где течение от одного берега идет к другому. Там он перегружается и летит к другому берегу (а иногда и пролетает мимо, подобно турсукам).

На том берегу бурлаки тащат каюк опять вверх по течению.

На каюк нагрузили сельскохозяйственные машины, грузовик, бидоны с бензином, товары для кооперации, людей с мандатами. Пловцы взмолились аллаху. Рулевые закричали дикими птицами непонятных слов и российским матом. Мы полетели сломя голову на тот берег.

Я сознательно так подробно выписывал эти задворки таджикских — курган-тюбинских, а стало быть и джиликульских, и кабадианских, и сарайских, и пархарских и кулябских — дорог. Эти места суть жемчужины Таджикистана, это — золотое дно хлопковых долин. Отсюда идут миллионы пудов хлопка, здесь производятся крупнейшие строительства Таджикистана. Этот район — без дорог. Вахш, Пяндж — Аму-Дарья — не могут разрешить дорожного вопроса: эти реки колоссальнейшего водного расхода неприме-

нимы для нормального судоходства еще и потому, что их русла каждосуточно, каждочасно меняют свои рельефы: там, где час тому назад были глубины, сейчас мели; там, где час тому назад были мели, сейчас глубины (даже там, где посажен хлопок и земля считается твердой, вдруг из-под земли приходит Вахш или Пяндж, хватает людей на полях, и людей находят потом за десятки километров вниз по течению этих рек), — эти реки еще не окончательно родились. Дорога до Курган-Тюбе гудронирована, — мост через Вахш строится, будет построен к ноябрю этого года, — для Вахша и Пянджа строятся специальные очень сильные и плоскодонные мотор-боты (которые главную часть времени, нарушая всякие обусловленные сроки, будут сидеть на мелях), — и тем не менее все это не разрешает дорожного вопроса. Затоваривание, с одной стороны, и невозможность довести нужные товары и материалы к сроку — с другой (что и сейчас уже отчаяннейше чувствуется, хотя к вахшскому ирригационному строительству только приступлено, а электростроительство находится в последних проектных стадиях), — будут неминуемо. Вопрос разрешится только проведением к Курган-Тюбе и дальше до Куляба железной дороги. Все хозяйственные и правительственные органы Таджикистана говорят об этом. Вопрос уперся в академизм НКПС, который дорогу строить не намерен, эти какие-то двести километров. Дорога необходима. Дорога себя окупит в ближайшие три года.

От Вахша до Курган-Тюбе — пыль, пыль, пыль, тугай, хлопчатник.

Курган-Тюбе — как все города Таджикистана: из развалин библейского, средневекового кишлака (кур-

ган-тюбинский замок разбит подобно гиссарскому) возникли белые дома: исполкома, больницы, почто-телеграфа, хлопкоочистительного завода, школ, агропункта, общежитий, прочее.

Командуют городом — Вахшская изыскательная партия и совхоз Вахш. Вахшской изыскательной партии я привез радость — сообщение, что в Сталинабаде получены телеграммы от СТО и Совнаркома СССР о том, что партия должна приступить от изысканий к строительству.

Я приехал в партию. Огромный двор с одной-единственной избушкой, со множеством тэнтов, под которыми разместились гараж, мастерские, конюшни, и с несколькими юртами, в которых жили изыскатели, являл собою табор. Начальник партии отвел нас, приехавших из пылевого паморока, под душ, за соломенную загородку, — сообщил, что главинж лежит в папатадже, что сегодня—вечер перед выходным днем и народы собирались поехать на кабанью охоту, — не присоединимся ли и мы?

Оторвавшись от Сталинабада, я впервые в жизни понял, что такое для человека вода, потому что ее в зное требовалось множество, но та вода, которая встречалась, была или солоня или грязна до невозможности и тепла до тошноты (впоследствии в Таджикистане я с судорожным отвращением пил воду из источника, около которого послось стадо коров, и пил в тот момент, когда в ту самую лужу, с одного края которой я пил, на другой стороне мочилась корова).

Я спросил начальника партии о воде; он ответил, что пьют из колодца, полусоленую и пополам с лесом, — вода ничего-себе.

Вахшская изыскательная партия, которая ныне переименована в Вахшское ирригационное строительство, командовала водой, строила воду. Я был, томясь зноем и седлом, на головах арычных систем Джайбора и Джили-Куля, построенных древностью.

Через год эти древности будут заменены инженерией.

Табор штаба партии то наполнялся, то опросторивался телегами и караванами изыскателей: на сотнях квадратных километров вокруг, по всему треугольнику, образуемому горами и реками Вахшем и Пянджем, ходили двадцать один мензальный отряд, два трассировочных, два буровых, отряд по съемке арычной сети, гидрометрия, гидрология, геология. Я был в штабе и в бодрой поспешности штаба, разместившегося под тэнтом на досчатом столе, где рассыпанной колодой карт вокруг стола, кроме бидонов от бензина с чертежными досками, разместились кровати изыскателей. Гидроэлектрострой (никак не смешивать с партией) проектирует заковать Вахш на триста пятьдесят тысяч киловатт, — партия строит свои две гидростанции — на пятьдесят и на десять тысяч тех же киловатт: для хлопковых заводов и для механического оборудования ирригационной системы.

Вечером, под лампой-молния, в смерчах совершенно необыкновенных бабочек, собрались изыскатели. Расход Вахша (водный расход) — средний годовой — две тысячи кубометров, меженный — зимний — двести. Сейчас орошено Джайбором и Джили-Кулем — двадцать восемь тысяч га, — Вахшское строительство оросит: брутто (вместе с тяжелой мелиорацией) сто пятьдесят тысяч га, нетто (хлопка) — сто двадцать. Вопрос о Вахшском строительстве возник в 1929 го-

ду, — закончено строительство будет в 1932. Рельеф — отличен, уклоны и сбросы — отличны, — растет египтянин (египетский хлопчатник), — деньги есть, проекты готовы. Нету дорог, дорог, способов переброски грузов. Для начала работ надо два миллиона пудов груза, — как их перебросить? автомобилем?!

Дороги и москиты! — в папатадже, в малярии каждыйдневно тридцать процентов изыскателей валяются с ног, — но те, что сидят за столом и пьют чай-кабуд (зеленый), в этой тропической ночи, — очень бодрый народ.

Тропическая ночь. Чай.

— Вы только представьте себе, что каждое полено, гвоздь — все надо сюда завезти.

Тропическая ночь. Чай. Из темноты приехал верховой, передал телеграмму: прислан, привезен лямкою на каюке из Термеза экскаватор, первый, — радость и: как его тащить? В ночь (чтобы не маяться зноем) уехал за сто км к Пянджу верховой принимать экскаватор, грузы. Скальных выемок — сто сорок четыре тысячи кубометров.

— Железная дорога необходима, иначе наше строительство наполовину обесмысливается, ибо всего хлопка, который здесь уродится, нельзя будет вывезти.

Мы из Сталинабада сюда ехали целый месяц! только подумать!

Тропическая ночь. Удушье. Чай.

— На всякий случай мы уже сделали двадцать пять каюков, строятся еще двадцать пять — паллиатив!

— А жаль, что на кабанов не съездили, — сейчас ели бы свинину. Будете ехать дальше, увидите среди

хлопка глиняные башни для одного-двух человек: это декхане построили, чтобы спастись от кабанов.

Тропическая ночь. Чай. В темноту приехал грузовик; около керосинных фонарей стал забирать продовольствие, нагрузился, ушел в темноту, повез провизию по отрядам. Вооруженный помощник шофера выругался в темноте, я расслышал конец фразы:

— . . . то басмачи, а теперь кабаны! . .

Я заметил, что о басмачах говорят так же, как и о кабанах. Секач — существо страшное: это — старый кабан, бывший вожак стада и оплодотворитель его, которого прогнал более молодой; изгнанный, секач, покидает стадо, ходит одиноко, он свиреп и он нападает на все движущееся, а клыки у секача размером до четверти аршина.

По примеру таджиков, и европейцы на сон предпочитают подкладывать под себя кошмы: на шерсть кошм не залезают ни каракурт, ни скорпион, ни фаланга, ни тарантул. Но москиты в воздухе — мириады — бесконечное количество различных образцов, от бабочки, величиною с ладонь вместе с пальцами, до невидимых, но несущих папатадж существ. Я заснул под звездами, заполнившими небо.

Наутро я пошел к хозяйину Вахшинской долины — к хлопку — в совхоз Вахш. Город совхоза разместился в древней мечети и в ее пристройках. Мдрессе стало общежитием (рядом с ним выстроены белые европейские домики с громадными террасами); хана для приезжающих применилась под красный угол, столовая поместилась под хаусом. Сама мечеть являла собою переполненную контору, наполненную конторскими людьми и рабочими, разделенная тощими перегородками. В мечети шелкали счеты и тре-

щала машинка. Заведующего совхозом, товарища Сундатова, я застал на некоей террасе, против гаража на конном дворе. Он пил чай-кабуд, отирая ребром ладони обильный пот, и рассматривал чертежи двух буксиров, которые будут таскать грузы по Аму и Вахшу. Товарищ Сундатов был всем недоволен — тем недовольством людей, которые любят преуменьшать, чтобы выиграть, и которые знают, что выиграют, — и разговор начался — от чертежей — с дорог.

— Это же ведь не дороги! — три месяца в году — дорог нет никаких, когда польют дожди: ведь этот самый лесс так расползается, что в нем тонуть можно и даже необходимо. А шофера — говоря попросту — бандиты! — держат нас в терроре, гнать их надо в шею, и нельзя. А из-за них-то у тракторов бензину нету, а то так завезут, что нехватает резервных баков. Между прочим, эти самые баки мы просим-просим, а их не дают, — отказали даже в керосиновых складах. И еще надо заметить, что совхоз — организация беспартийная, а бюджет у нас десять миллионов, больше чем у города, — ну, и грабят нас все, как шофера, особенно исполкомщики, — беднейший народ, — то им то, то им се. На лошадях им разъезжать, видишь ты, скучно, — каждый день автомобиль просят, — прямо скажу, выгодней легковой автомобиль держать в ремонте, я иной раз сам велю колесо отвинчивать. Небось, и вы автомобильчик потребуете? — Не дам! сломан! — пойдет на границу грузовик, езжайте, — а легковой — сломан! — Вы сосчитайте. Совхоз организовался в марте двадцать девятого, обработали в прошлом году четыреста га, из них под хлопчатником — триста двадцать. В этом году

семь тысяч четыреста десять га, из них под хлопчатником пять тысяч триста пятьдесят три. Средний проектный урожай сто пудов, — фактический будет меньше, — ну, возьмем все-таки сто, — пятьсот тридцать тысяч пудов, полмиллиона пудов урожая. Примите во внимание, что хлопок, даже очищенный от зерна, есть вата, а грузовиков у меня семь штук, — ясное дело, либо сгною, либо потоплю на буксирах. У меня две с половиной тысячи рабочих, десять агрономов, конторщики, семьдесят два трактора, восемьсот лошадей, — их кормить надо. Организации мне не помогают. Местные — автомобильчик просят да кроме того надо — не надо украли у меня девять тысяч пудов хлеба! Что я с ними подедаю!? Ну, а ваши, ресефесерские!? — прислали мне на окучку сибиряков-переселенцев, кто без руки, кто без ноги, старичье, — из тысячи на работе только тридцать процентов, а надо полив производить, окучку, работа горит, я хочу выйти из дела с успехом. Бабью историю знаете?!

Товарищ Сундатов утирал пот со лба. Ежеминутно к нему — на эту случайную террасу, где он застрял со мною, — приходили люди с большими и малыми делами. Агроном с хутора номер первый сообщал о положении на опытном поле, о семеноводческих посевах, — товарищ Сундатов побряхтывал; из слов агронома я понял, что дела в полном порядке. Приносили телеграммы. Принесли контрольные цифры на тридцать первый год, — собственно, уже не контрольные цифры, а рабочий проект, ибо к тридцать первому году уже приготавливаются земли: земель у совхоза будет восемнадцать тысяч га в тридцать первом году и больше ста тысяч в тридцать втором.

Я напомнил товарищу Сундатову, что четыре года тому назад здесь не было ни одной коробки хлопка (коробкой называется хлопчатниковый плод, из которого добывается хлопок и количеством которого на кусте измеряется урожайность). Товарищ Сундатов ответил не по существу:

— Был я рабочим — отправили бы меня на прежнее место, — а то, вишь, на конный двор забрался, и тут меня находят, не дают собраться с мозгами.

Товарищ Сундатов ответил не чистосердечно: он был горд своим делом.

— Что вы собираетесь ехать на хутор номер первый? — Вы поезжайте на хутор Якодин, — про-рыв! — Вы послушайте, как мы живем, — не жизнь, а землетрясение. О дорогах оговорено. Народ — кроме таджиков, у меня их процентов семьдесят, — жулье, особенно счетный состав, бегают за длинным рублем, — один такой завел себе медвежонка, ходил с ним в контору, пугал всех, а дома пьянствовал — опять-таки пополам с медвежонком. Народ — прямо разбойники, сами удостоверитесь, какой в Таджикистане народ. Дальше. Начнем хотя бы с весны, — трактора прислали, а плугов к ним нет, — шлем телеграммы, гоним курьеров, не спим ночей, караулим на переправе, — нет и нет! — И даже вестей нет никаких. Когда, наконец, пришли, пришлось работать трактористам круглые сутки, пахали во сне! Вдруг обозначилось, что нехватает горючего. И так все время, го хлеб не довезен, то хлеб исполкомщики свистнули, то строительные материалы застряли на том берегу. Сейчас у нас новых два дела: во-первых, с бабами, которые прорвали фронт, во-вторых — с водой. Неделю

тому назад чистая война была, — курьеры мчатся, телеграммы летят, ночей никто не спит, дело идет врукопашную: паводок на Вахше разворотил голову Джайбора, вода поперла куда не надо, а куда надо — там засуха, у хлопчатника лист начал сворачиваться. Я целую неделю не спал, Джайбор зачинивали день и ночь безостановочно. Правду сказать, наладили, но какие еще предстоят непредвиденности — неизвестно. Может, например, прилететь саранча.

Мы пошли осматривать город совхоза. Товарищ Сундатов всем был недоволен. Он показал мне план, по которому строится городок — новый городок — совхоза, где предусмотрено все: от ванн для рабочих до яслей для детей посреди парка. В кооперативной лавке совхоза товарищ Сундатов отпустил мне сотню отличнейших папирос.

Я собирался поехать на плантации, на хутора номер первый и третий и к головам магистральных арыков. Товарищ Сундатов сказал:

— Может, все-таки, дать автомобильчик? — и рас-смеялся добродушнейше.

Я поехал верхом. Мне уже привычно было томиться в раскаленном зное солнца, пряча голову под тропический шлем и испивая воду из каждого встречного арыка, ужаснейшую, грязнейшую воду. Хутор номер первый, возникший в пустыне, уже остроился белыми домиками. Гараж стоял, как в российских степных селеньях стоят скирды хлеба или элеваторы, поднимаясь надо всем. С десятником мы проехали десятка полтора километров полей, где направо и налево глаз терялся в египтянине, по поводу которого десятник говорил, что он даст не десять коробочек, а восемна-дцать, — то-есть даст с га не сто пудов, в которые

не верил товарищ Сундатов, а сто восемьдесят. Мы ехали по арыкам, прыгая через них по надобности, — направо и налево росли в лужах воды прямые, тракторные ряды хлопчатникового куста, уже с коробочками — с теми коробочками, пух из которых, свезенный верблюдами к хлопкоочистительным заводам, очищенный от семян на этих заводах, спрессованный, отвезенный к железным дорогам автомобилем и опять верблюдом, свезенный поездами в Москву, в Иваново-Вознесенск, в Орехово-Зуево, на химические заводы, даст ситец, сарпинку, кофточки, рубашки, платки, простыни, на химических заводах — взрывчатые вещества, на бумажных — высочайшие сорта бумаги, на фармацевтических — гигроскопическую вату, — даст рубли и освободит рубли от американских долларов, за которые американцы продают свой хлопок.

И через день я снова томился удушьем пространств. Грузовик нес нас к границе, к городу Сарай-Комар, к древней величественной реке Пяндж, имя которой волновало мое воображение с детства. За Джили-Кулем на семьдесят километров легла пустыня, в которой, в выжженных пространствах, мы видели множество миражей, — видели стадо джайранов: в этой пустыне, в джунглях Пянджа, пасутся дикие лошади; эта пустыня будет залита вахшскими ирригаторами. Ветер дул в спину автомобиля, и автомобиль полз ощупью, задыхаясь пылью, грузовик, амовская полуторатонка. Пыль создавала состояние маразма; люди начинали походить на небывалую новую серую расу; в пустыне иссушал зной. С нами ехали направлявшиеся в Афганистан кооператоры, скупщики лошадей; они везли с собой седла: я пригнул два седла одно на другое и ехал верхом, —

по той дороге, по которой я ехал на автомобиле и верхом одновременно — куда сложнее было уберечь ребра, чем просто верхом даже на горных перевалах!

Джали-Куль есть город смешения народов — узбеки, таджики, татары, казаки, киргизы, арабы, афганцы, турки. — роды, племена, колена, кровная месть, — а за всем за этим, на развалинах старого, — новый хлопковый завод, школа, больница, каравансарай. Поразил меня некий европейский чин в Джили-Куле; он проходил по улице в тропическом шлеме, в круглых громадных очках, в одних единственных трусах на всем теле, в сандалиях и с портфелем.

Сейчас же за Джили-Кулем мы обогнали полчища отар каракулевой овцы: овцы принадлежали каракулевому совхозу, они перегонялись на горные пастбища.

На автомобиле ехали — врач, судья военно-революционного трибунала, фельдшер, вахшстроевский инженер (все время по дороге этот инженер показывал на шалашики в пустыне, называя номера партий, работавших около этих шалашных баз). В Джили-Куле подсели к нам два мудрых человека, которых ничем нельзя было удивить: два почтово-телеграфных деятеля, которые вот уже пятый месяц ежедневно едут и проедут еще три месяца, из кишлака в кишлак, с гор в долины, с долин в горы, по всему Таджикистану, изучая и налаживая почтово-телеграфную связь. Эти люди, загоревшие до негритянского состояния кожи, блаженствовали в автомобиле, пили, выпили с ведро квасу и рассказывали о том, как дней пять тому назад они так застряли в горах, что бросили на леднике лошадей и целых полторы суток ползли со льдов на четвереньках; на полдороге эти

два человека бросили нас и пошли в сторону, по направлению к слиянию Вахша и Пянджа, пешком, здесь, в пустыне, ухитрившись найти место для почтовой конторы. Врач рассказывал о базедовой болезни, о зобах, которыми в этих местах, по предгорьям, равно как и на Памире, хворают целые кишлаки.

Вдруг за миражами в зное возникла действительность: просторы Пянджа, земли за Пянджем, Афганистан. Через час мы ели дыни в Файзабад-Кала и обливались из душа на дворе хлопкоочистительного завода.

Еще через час я опустился (или поднялся?) в чудесность, в жизнь пограничников, в разговоры о тиграх, в дозорные тропы от заставы к заставе на границе, от комендатуры к комендатуре — в жизнь, которую нельзя уже назвать клоиндакской, но — майнридовской, киплингской.

Через неделю тогда я вернулся к Клондайку. В Пархаре, под чинарой в чайхане, на кошмах я встретил партию инженеров, которые приступили к странному строительству: они — не строят, но уничтожают целую реку Беш-Капу, ту самую, через которую за час до встречи с этими инженерами мы переправлялись на бурдюках, средневековым способом, каждую минуту намереваясь отдать душу господу! — эти инженеры приступили к уничтожению целой реки, сбрасывая ее воды в Пяндж, потому что эта река заболачивала джунгли, те самые джунгли, которые только что томили меня сутками нестерпимого удушья, те самые джунгли, в которых пасутся кабаны и рыскают барсы и тигры, — эти джунгли можно, разболотив, отдать хлопку, уничтожив во имя Клондайка Майн-Рида и Киплинга.

А еще через двое суток тогда, перевалив через плато Кичи-Тиран, полюбовавшись с него беспредельностью Кулябской долины, я приехал в окружной город Куляб, с электричеством, с шумами заводских моторов, с толпами народа, с парком и бульваром для прогулок, — тот самый Куляб, который лежал в пепле после Энвера. В столовой рядом со мною обедали члены экспедиции Тропического института, врачи, приехавшие сюда изучать тропическую малярию, персидский тиф и папатадж. В городе происходила окружная партийная конференция. В исполкоме обсуждался вопрос о шелковой проблеме, о количестве сданных коконов, о постройке шелкокрутильного и гренажного заводов: шелк шел второй очередью за хлопком.

Из Куляба в Сталинабад летают самолеты, — и в Сталинабад я улетел, в сорок пять минут покрыв то расстояние, что на лошадях делается в пять дней.

В Сталинабаде я взял цифры и учебники географии, чтобы проверить себя. Цифры, которые возрастают только сотнями и тысячами процентов, я беру как образы.

Учебник географии Таджикистана (проф. Маллицкий, Тадж. ГИЗ, 1929), равно как цифры, подтвердил мною рассказанное. Географ называет округа средневековой терминологией — вилайетами. Географ отмечает память таджиков о их бездорожьях, когда один из спусков к Вахшу до сих пор называется Дондон-Шиканом, что значит — разбитые зубы. Географ рассказывает легенды об ирригационных сооружениях, когда они начинались дедами и не были закончены при внуках. Географ рассказывает о зноях

Курган-тюбинской долины, что «это самая высокая температура воздуха, которая вообще наблюдается на земном шаре, именно в африканской пустыне Сахаре и в Месопотамии (в Багдаде)». Географ рассказывает о растительности джунглей, где, кроме тысячи видов тростников и камышей, растут джида, тамариск, турангыл; где живут каракурты, скарабен, очковые и гремучие змеи. крокодилоподобные ящеры-вараны (которые достигают роста двух метров и не боятся человека, шипя на человека подобно мотору); гиены, шакалы, антилопы, олени, одичавшие лошади, барсы, тигры. Географ рассказывает об остатках древней письменности, указывающей, что здесь командовала культура Индии, — рассказывает о смешанном населении этих долин, о войнах, которые разрушали эти долины, о конях победителей, когда везде, «куда достанет нога катаганского коня, ни мертвый не имеет савана ни живой отечества», — последнюю такую конскую ногою был Энвер-паша. Географ рассказывает, о судьбах хлопка и риса. О Кулябской долине географ рассказывает, что некогда она была могущественнейшим государством индусской образованности, под названием Хатлан, — и до сих пор этот край есть богатейший в Таджикистане, и до сих пор от древних здесь, в горах Хазрет-и-Ша и по долинам рек, копают и моют золото таджики. (Горы Хазрет-и-Ша состоят из золотоносных конгломератов. От древности таджики, чтобы добывать золото, объединялись артелями от ста до трехсот человек. Для того, чтобы добраться до слоя конгломератов с наибольшим количеством золота, артельщики строили водопады, которые смывали верхние слои песка, копали шахты, прокапывали отводные каналы, трудились по множеству

лет с одной и той же жилой). Географ рассказывает о залежах каменной соли и азбеста.

... Самолет поднял меня из Куляба и понес над горами в Сталинабад, в этот фантастический город, командующий Таджикистаном. Самолет перелетал горы. Направо величествовали вершины и перевалы вечного снега, древнее величие Припамирья.

ТАДЖИКИСТАН ГОРНЫЙ

Инженеры прокладывают сейчас автомобильную дорогу к Гарму, — дорога отгремела динамитом до Оби-Гарма, куда добираются теперь автомобили. Но дальше за Оби-Гармом к Каратегину, к Дарвазу, к горному Бадахшану (Памир) идут ишачьи тропы и овринги. Туда ездят верхом на конях, на ишаках, да залетают туда самолеты. Дороги туда идут по долинам, против течения рек, и дороги с каждым метром все выше и выше уходят в горы, к вечному снегу, к ледникам, к колыбели рождения рек и к климату арктики. Высоты показывают все пояса климата и растительности — от риса субтропиков до эдельвейсов и красных рясок, живущих на вечном снегу.

Когда в Гарм прилетел первый самолет, при виде его от разрыва сердца умерли три человека. Мы летели в Гарм вместе с зампредсовнаркома Таджикской ССР тов. Вл. Ер. Случаком. В горах, должно быть потому, что они многие месяцы в году отрезаны от мира метелями и снежными обвалами, бывает иной раз необыкновенное солнце, необыкновенный свет, когда глаз видит на сотни километров. Самолет оставил внизу зеленые долины, равняясь с вершинами гор, с холодным величием льдов. Над нами было

солнце, налево от нас были ледники Зеравшанского хребта, направо — хребта Петра Первого и впереди — Памира, хребет Академии, снеговые гряды перед самолетом, теряющиеся из глаз. Самолет брал высоты километров, холод арктики — июльской арктики! — врывался в самолет, — дышать надо было глубокими вздохами, чтобы приладиться к разреженному высотами воздуху, — и солнце, солнце, свет неопишуемой яркости, пустой воздух — резали глаза. Самолет в час с четвертью прошел то пространство, которое люди на лошадях делают в пять дней. Гармский аэродром находится в восьми километрах от города. Самолет долго проделывал воздушные воронки, чтобы спуститься между гор к земле.

На аэродроме нас встретили всадники. Мы пересели на коней. Простор солнца, торжественность гор не покидали нас.

Гарм лежит на родоначальнике Вахша, на реке Сурх-об, которая, сливаясь с Хингоу (рекою золота), образует Вахш.

И города Гарма, говоря по существу, нет.

Где-то в стороне лежит полумертвый кишлак, отгороженный от мира своими глино-каменными дувадами и водопадами, — а город, европейский город (я вспомнил, приехав туда, Шпицберген, шпицбергенские поселки каменноугольных копей), европейский город Гарм — субстанция города — состоит всего-навсего из двадцати—двадцати-пяти европейских домов, построенных в этом и в прошлом году. Все дома одинаковы — белые, одноэтажные, почти стандартные, указывающие, что для строительства их привезены материалы со строжайшим расчетом их перевозоспособности. Это и понятно: сюда, в горы, под самый

вечный снег, в километры над уровнем океана, чтобы построиться, надо было привезти все, от стекла в раму до леса для рамы, — и все это было привезено на ишаках. В городе построены — исполком в центре плана, против исполкома окружком КП(б)Т, рядом педтехникум, водхоз, метеорологическая станция (изучающая климат Памира и законы рождения рек), телеграф, караван-сарай (торговые ряды Таджикторга, Таджикмутлобота—кооперации), больницы, приемные покои, общежития, клуб, склады Азия-хлеба, Туркшелка, акц. общ. «Шерсть», скотный двор молочной фермы. Этот стандартный город рассказал мне о том, как и что строит сегодня советская власть: этих домов не было здесь два года тому назад, а стало быть не было ни больниц, ни школ, ни почты.

В старом Гарме остались развалины бекского замка (Гарм столица целого громадного округа — горных систем Каратегина), парк, хаус под платаном, гарем, крепостные стены, темницы (при чем на таджикском языке о тюрьмах говорят — «лечь в тюрьму», а не сесть, как, предположим, говорят по-русски: в кутузки при беках не сажали, но — клали).

Три-пять лет тому назад в Каратегине почти не было никаких товарных отношений; люди потребляли то, что производили. Какие в Каратегине пшеницы! — какое в Каратегине молоко! — ныне Каратегин втягивается во всесоюзные товарные отношения. Три-пять лет тому назад в иных местах здесь деньги заменялись кожами, служившими разменной монетой — как в Московии при удельных князьях. Сейчас там в каравансарае есть все — от всяких ситцев до одеколонов ТЭЖЭ: хлеб получил вдруг цену, тута пошла

не только на хлеб, но и на шелк. В городе Гарме образована молочная ферма, выписывающая породистых коровьих производителей; в городе Гарме больница; в городе Гарме, не первоначальная школа (которая, конечно, имеется, как и во множестве кишлаков), но — педтехникум. А вокруг Гарма в горах лежат кишлаки, средневековые, первобытность и — жесточайший труд, когда земли под посевы надо иной раз — земли, на которых может произрастать живущее — надо тащить на безжизненность камней из-за десятков километров, и поля надо огораживать каменными дувалами, чтобы не развеяло ураганом плодородную почву, — на кишлачных полях здесь иной раз начинают готовить клин земли для посевов отцы и заканчивают дети.

Хозяин города Гарма — строительство, строительная контора Таджикгосстроя. Эта строительная контора есть табор под горами, где работают и существуют несколько сот строительных рабочих ярославских, полтавских, вологодских, — и несколько сот лошадей и ишаков, ибо эта строительная контора строит, обстраивает весь Каратегин и Дарваз, рассылая через ледники перевалов дома и части домов. В квартире уполномоченного Таджикгосстроя, у инженера Кирсанова, свалены в углу перечитанные все новейшие московские и ленинградские журналы, доходящие в Гарм с двухмесячным опозданием.

Мы поселились по воле Таджикгосстроя в доме, только-только что отстроенном.

Наш день прошел в заседании исполкома, где слушались и обсуждались доклады — о шелке, о шерсти, о хлебе, о воде, о ситце, — о насущнейшем, о простейшем, что перестраивает Каратегин. В нар-

образе я встретился с двумя ленинградскими студентами этнографами, приехавшими изучать таджикский язык и таджикский фольклер.

В час между собакой и волком — в закат — с гор пришла гроза, единственная за лето тридцатого года, ибо вообще в Средней Азии долин последний дождь бывает в феврале и первый в ноябре. Арктика Памира бросила на Гарм лиловые тучи, тучи понесли ветер, застонали горными эхо, когда кажется, что падают горы, загремели и запылились молниями. За дождем, за громами — я оказался никак не в Каратегине: с двумя метеорологичками — подвижницами науки, которые с ужасом рассказывали о переходе сюда от Сталинабада на ишаках, — с двумя лингвистами, с двумя врачами (этих врачей задержала гроза, они проходили мимо Гарма из Дарваза в Матчу, врач-антропологи, экспедиция, изучающая сравнительную анатомию горного населения — антропологию таджиков), с киноартистами, приехавшими из Москвы снять Гарм, с инженером Кирсановым мы сидели на берегу Сурх-оба, слушали его рев и говорили обо всем, кроме Таджикистана, — о судьбах СССР, о революции, о советской кинематографии, о метеорологии, о медицине, о литературе.

Я возвращался с Кирсановым; наутро мы вместе с ним и со Случаком должны были уйти в поход в страну Дарваз. Нашими разговорами мы вернулись к будням. Владимир Федорович сказал мне, что он выписал для жены сюда, в Гарм, пианино: это будет первое пианино на Памире. Я ночевал в одной комнате вместе с товарищем Случаком.

Наш дом был только что отстроен и пахнул краской. Ночью нас разбудили необыкновенные

шорохи. Эти шорохи не были похожи на крысиные. По полу соседних пустых комнат и по потолку бегали неизвестные животные, пищали и веселились. Мы кидали сапогами и в потолок и в стены. Звери веселились всю ночь. Наутро Кирсанов объяснил нам, что это были куницы, — от куниц нет спасения: излюбляли для своих нор подполья и чердаки европейских домов. Ловят куниц по осеням с гораздо большим естественно, азартом, чем крыс, но по летам их оставляют в покое для размножения и для выпущки. Я видел, как по водосточной трубе спускалась куница и с нею штук семь кунят.

Наутро, в бодрости солнца, мы пошли в поход — в Дарваз. Впереди нам предстояли два горных хребта — Петра и Дарвазский — и три перевала — Комчерак, Зах-Бурси и Хабу-Рабат. Мы шли в страну, еще более оторванную от мира, в которой почти не едят хлеба, заменяя его тут-пистом, пастилой тутовоягодной муки, ибо в Дарвазе очень много растет тута. Слово Дарваз значит — страна канатоходцев, страна акробатов: так страна названа в честь ее дорог.

Нас было шесть человек в походе, трое таджиков и трое русских. Кирсанов был нашим комендантом. Наши кони были отличны.

Наш поход был сравнительно с остальными походами — удачным: у нас сваливался с горной тропинки в пропасть всего один человек — милиционер товарищ Максум. (И чудом спасся, — он вместе с лошастью, сорвавшись с тропинки, летел десяток метров по воздуху, по счастью упал на щебень, летел вместе со щебнем метров пятьсот и, еще раз по счастью, наткнулся вместе с лошастью на фисташковое дерево, которое задержало его лошадь, а вместе с лошастью

и его, — в метре за фисташкой была пропасть, в километр отвесом: если бы Максум упал туда, мы не имели б возможности даже подобрать его костей, ибо на спуск в эту пропасть надо было б потратить дня три — срок, в который горные волки съели б остатки Максума. Максум был покоен, когда мы вытащили на тропинку его и его коня, но конь был в истерике. Я видел это впервые: конь дрожал в нервном ознобе, конь покрылся пеной, он боялся ступить, — ехать на коне возможности уже не было). Да сломал в нашем походе себе голову начальник похода товарищ Случак (И сломал почти на ровном месте, за час до отлета обратно из Гарма в Сталинабад: он пошел к реке пить; камень сорвался у него под ступней; он летел метров двадцать пять, остался жив, но получил кровоизлияние в одну из черепных полостей).

По существу говоря, езда по перевалам заключалась в том, что мы ехали поочередно то на хвостах у коней, то на ушах. На средних подъемах (градусов 30) мы лежали на конях держась за уздечку; когда эти подъемы превращались в спуски, мы лежали на конях, опираясь о крупы. На крутых подъемах (градусов 45) мы шли за лошадьми, держась за конские хвосты, при спусках же повисали на поводьях. Вообще же мы предпочитали с лошадей не слезать, так как у лошадей головы не кружатся, как это бывает у людей.

Мы выехали зноем солнца, и мы запаслись на дороге войлочными гармскими белыми чапанами, чтобы не мерзнуть на перевалах. Сбоку у каждого из нас болтался маузер.

Мы выехали — в пустыню, говоря по существу, ибо на нашем пути предстояло всего пять-восемь кишла-

ков. Горные кони на мало-мальски ровном пути берут в карьер и склонны на рыси переходить овринги, — и эти кони гораздо более приепопоблены к горным переходам, чем европейцы-люди. Мы ночевали в кишлагах среди скал у странных стариков, которые помнят все, что было семьдесят-восемьдесят лет назад, когда в горах никто не знал, что в мире есть европейцы.

Перевал Комчерак начинается в шести километрах от Гарма. Кони промчали эти шесть километров карьером. И кони полезли на Петра Великого, в горы, в горы, в горы. Пояса пшеницы и арчи (можжевельника размером в сосну), редкие березки сменились так называемыми альпийскими полями, где пасутся отары. Альпийские поля сменились косами снега. смятого в лед и поросшего красными рясками. Ослепительное солнце было над нами. Глаза слезились от снега. На плечи надо было надеть чапаны. Кони цокали подковами — в августе, в субтропиках — по льду. Здесь росли мхи, в этой пустыне гор, снега и солнца. Надо было по особому дышать, раздувая легкие вздохами, ибо воздух был разрежен. Направо, налево, сзади, на километры еще выше нас вечным седым величием величествовали вершины. Я видел дважды в жизни такой пейзаж: в арктике, на Шпицбергене, и на островах Уиджа.

Сзади оставались многие часы похода и многие километры. И вдруг горы оборвались в пропасть, отвесом. Внизу, в сини недалеких километров, лежала долина роц, садов, зелени; мы были на снегу, около ледника, в котором рождался ручей, — внизу, в жизни, текла серебряная река. Внизу была жизнь, долина невероятной красоты.

— Начинается, — сказал Владимир Федорович Кирсанов, — и слез с коня.

В десяти шагах начинался спуск. Спуск этот верст в семь пути и в два километра отвеса. Спуск идет по хребту скалы. Громадным ящером эта скала поставила задние лапы в долину и передними уперлась в ледники. Мы стали сползать по лишаям хребта этого ящера. Под ногами был гравий. Направо и налево под нами были пропасти, синюющие своими пространствами. Ноги сразу налились свинцом, усталости; я повис на поводках. Лошадь своими копытами при каждом шаге выбирала почву под собой гораздо осторожнее, чем хирург-окулист касается глаза. Каждый мускул лошади был рассчитан. Тропинка проходила в четверти аршина от пропасти; начинала кружиться голова. В самом верху скалы был мост через пропасть и затем пошли овринги. Надо рассказать, что такое овринги на Памире и что такое мосты.

Мосты строятся простейше: два бревна через пропасть, на бревна положен валежник, валежник посыпан щебнем, чтобы не пугалась лошадь, — делается это без единого гвоздя, — такие мосты кладутся и через реки, — когда по ним идет человек с лошадью, мосты качаются, — когда человек переезжает их верхом, за своими коленями, и за гривой лошади он не видит моста и видит лишь то, что за километр под ним, — за наш поход лошади много раз вязили ноги в валежнике этих мостов. А овринги строятся там, где тропинки упираются в отвесы: вопреки законам физики, на манер ласточкиных гнезд там приклеивают дорогу: в одну расщелину вставляют кол, в другую, перекидывают бревна с камня на камень.

выпирающие из скалы; сплетают их лозою, опять засыпают валежником и щебнем и едут таким образом, что одно колено чертит за стену отвеса, а за другим разверзается пропасть. С оврингов, по правилам, костей не собирают. На оврингах европейцу лучше закрыть глаза и отдать свою судьбу в лошадиное распоряжение. Надо помнить, что и тропки в горах, без всяких оврингов, такой ширины, что две лошади развехаться не могут, и таких качеств, что товарищ Максум — таджик. горец — свалился не с овринга, а с тропы; на таких тропках и оврингах с коней слезают через голову или через хвост.

В самом верху Комчирака был мост через пропасть, — внизу был синий километр пропасти; мост закачался под ногами: закачалась вселенная! Овринги дальше не были уже страшными.

С перевала мы сползли со скоростью километра в час.

Мы спустились в леса грецких орехов, фисташки, арчи, алычи. Тот ручеек, рождение которого мы видели вверху, превратился в шумный поток. Вокруг нас стали скалы, загородившие горизонты. Солнце обрело свой зной. Мы приехали к реке Оби-Хингоу, от древности знаменитой своим золотом. Эта река рычала куда злобнее Терека и долина была куда величественнее Дарьяльской! Вся дорога над Хингоу шла по оврингам — в этой долине валунов, шума воды и первобытной растительности.

Перевал Зах-Бурси есть граница между Каратегином и Дарвазом. Перевал мы проходили в полдни. Перевал полог, лыс; его одиннадцать тысяч футов не кажутся высокими. Его пологие овраги под солнцем создавали ощущение русского сентябрьского дня.

Было холодно и было просторно от солнца. Лошади шли не гуськом как всегда, но шеренгою. Дышать было трудно. К вершине перевала мы подошли неожиданно: один, два конских шага — и дыхание заглохло невероятным величием: за громадной долиной стали — один, два, множество снеговых хребтов, вечное величие: Дарваз, памирские вершины. И сразу на вершине переменялась погода: ветер забрался под кости, перебрал все тело; гармской войлочный халат никак не грел; сентябрь стал декабрем. Ветер рвал лошадиные гривы и срывал с лошадей наездников, мешал дыханию, мешал смотреть. Величие одиночества, величие недоступности, величие космоса — они лежали перед нами и вставали космическим блеском ледников. Холодом у меня сводило челюсти. Горы, лежащие впереди, казались недоступными человеку. Мы, неразличимые, должно быть, с высот этих гор даже в бинокль, мы — шесть всадников на шершавых горных лошаденках — поехали к этим горам, чтобы перевалить через Дарвазский хребет, который был первым за долиной, который казался лежащим совсем рядом, но путь до которого был больше суток похода.

И Дарвазский хребет — перевал Хабу-Рабат — оборвался пропастью, где над нами стали километры обрывов. Впереди едущий всадник вместе с конем казался пигмеем под этими километрами разъятых недр, откуда выпирали пласты медных руд, азбеста, фосфоритов, где наверху из-под ледников свисали каменный уголь и гранит. Геология в этом ущельи смешала свои эпохи так же, как климат. Там, в ущельи, куда не достигало солнце, там было темно и там лежал снег, снеговые трапеции, снеговые мосты, снеговые пещеры, по которым цокали копытами кони, превращенные

в пигмеев. Там, где было солнце, там разрастались роши тутового дерева, грецкого ореха, розовые заросли, гранаты, виноград. Скалы, километрами отвесов поднимаясь в небо, утверждали космическую готику. Со скал падали водопады ледниковой воды и воды, идущей из горных недр, соленой и горькой. Космос здорово поозорничал, создавая это ущелье. Это ущелье не было создано для человека. Целый день мы ехали на крупах лошадей от пропасти к пропасти, над водопадами, под водопадами, лепясь оврингами по отвесам, коченея бродами горных речуг. Ехать часами на спуске ужасно: от этого напряженнейшего слежения уже не за скалами, а за метром дороги перед тобою, от необходимости все время откидываться к крупу лошади, когда на самом медленном шаге все же надо держать коня шенкелями, — от этого немеют ребра у позвонка, ломит позвонок, а икры и ступни наливаются свинцом.

В этом ущельи падал Максум.

В этом ущельи есть овринг, который советскими работниками называется — «тем оврингом, где плачет М.» (М. — советский работник; каждый раз, когда он подъезжает в этом ущельи к оврагу, названному его именем, нервы его не выдерживают, он начинает проклинать свою судьбу, себя и советскую власть, пославшую его в Припамирье, все на свете, — он начинает плакать, этот не молодой уже человек; и овринг назван — «тот, где плачет М.»)

Мне известна судьба кала-и-хумбского врача. Именно в этом ущельи он так потерял нервы, что слез с лошади, отказался дальше итти, — дальше до Кала-и-Хумба врача донесли на руках, — и врач написал жене письмо, что никогда больше он не вернется из

Кала-и-Хумба, ибо не может себя еще раз подвергнуть ужасу дорог. Врач описывал дороги и предлагал жене решить, подвергнет ли она себя ужасу этих дорог или придет грамоту о разводе (ныне врач этот умер, — жена к нему не приехала). Когда этого врача вызывали в горные кишлаки, он требовал, чтобы его носили на специально им сделанных носилках, из которых он не видел дороги. Врач был болен, конечно, но врач был болен дорогами.

Это ущелье вынесло нас к столице Дарваза — к городу Кала-и-Хумбу. До последнего столетия, до девятнадцатого века, в Дарвазе правили потомки Александра Македонского. В прежнем дворце владетелей размещена сейчас комендатура погранохраны. В саду крепости имеется разбитый временем гранитный трон, сработанный, как говорят археологи, сподвижниками Александра. Точный перевод слов Кала-и-Хумб есть «крепость котла». Кала-и-Хумб лежит на дне долины, похожей на пиалу, — лежит на дне пиалы. Под замком, где ныне живут пограничники, сливаются реки Оби-Хумб и Пяндж, седой Пяндж! — и за Пянджем — Афганистан, в двухстах метрах от крепости пограничников.

Дарваз — страна канатоходцев. В Дарвазе не хватает своего хлеба, и хлеб заменяют тут-пистом — пастилой из туговой муки; но пастилу можно заменить мукою с тем, чтобы тут освободить для шелка.

Я рассказываю о делах советской власти в горном Таджикистане.

На перевалах, в пустыне камня и снегов, на оврингах, перед лицом седого величия горных хребтов, о которых на картах пишется «неисследованные области», мы встречали странные караваны ишаков, погоняемых

таджиками: ишаки везли телеграфные столбы (как не срывались они с этими столбами в пропасти!), мотки телеграфной проволоки, телеграфные бабки (телеграф дошел до Тавиль-Дара — до Тоби-Дара по иному написанию — и идет к Кала-и-Хумбу, пока связанному с миром только радио); ишаки везли оконные рамы, вьюшки и дверцы для печей, стекло, кровельное железо, медикаменты, книги, газеты, ситцы, галантерею — все, что потребно культурному человеку и чем идет в горы советская власть. Тропинки горных перевалов одиноки: зимами, когда перевалы закрываются, эти места отрываются от мира; снег в этих субтропиках смешан с платанами. Мы спустились с красных сланцев Петра в долину золотого Хингоу — спустились с жесточайшего одиночества и: в Тавиль-Дара строят — европейские — школу, больницу, исполком, почтовую контору, агроветеринарный пункт, аэродром, склады; берег Хингоу засыпан стружками, завален бревнами, поет таджикскими песнями и русской дубинушкой — в этом месте первобытности, где встретить человека редкость и куда телеграф и телефон уже проведены.

Мы вместе с конями сжимались в комки нервов ущелья за Хабу-Работом, заботясь о том, чтобы у нас не кружились головы на качающихся над пропастями оврингах, и: мы приехали в Кала-и-Хумб, где — опять-таки — строятся, построены — школа, детский приют (для маленьких таджитчат-сирот), больница, каравансарай, общежития, — европейская жизнь, — в комендатуре в Кала-и-Хумбе есть радио, посылающее вести миру с гор.

И в Тавиль-Дара и в Кала-и-Хумбе у нас шли заседания, где обсуждались: переустройство гор, пере-

устройство жизни таджиков, новые дороги, новые школы, шелкозаготовки, шерстезаготовки, коконосушилки, питомники для шелководных червячков. Под Кала-и-Хумбом в кишлаке Кеврой образован колхоз — здесь, на границе с Индией. На одной из горных троп нам встретились изыскатели, исследователи, геологи: они ищут в горах свинец, медь, серебро, азбест, золото. По горам и горным кишлакам ездят врачи, агрономы, дорожные техники, водхозники. Жить в Дарвазе европейцу, конечно, то же, что жить, примерно, на Новой Земле: это сравнение значимо тем, что на Новой Земле нет такого количества делателей и изыскателей, — и еще значимо утверждением того, что у Таджикистана есть воля слать людей на эту таджикскую Новую Землю.

В нашем походе, когда мы шли от солнца до солнца, мы ночевали в кишлаках, лежащих по пути. Мы мылись из горных ключей; нам расстилали кошмы под чинарами, нам приносили джургат (кислое молоко, сдобренное горными травами), шир (свежее молоко), чай-кабуд, палау (плов на горном наречии); мы ложились, чтобы есть, и мы опускались в библиотеку средневековья, в приветствия стариков, в быт, где не было почти ни единой вещи от индустрии; но разговоры наши были о новых делах, когда молодые таджики работали на новых строительствах и тащили по горам материалы строительства, — и к нашим кострам с гор приходили эти молодые, чтобы узнать новости, чтобы сообщить новости. Эти горные кишлаки — и одиноки очень и очень бедны, заброшенные между скал.

Никогда, никогда не забуду кишлака Сагыр-Дашт! — Мы ночевали в нем дважды. Он заброшен

между перевалами Зах-Бурси и Хабу-Рабатом. Если говорить точно, он лежит на перевале, ибо вершина перевала Хабу-Рабат километрах в пяти от кишлака. Он лежит на уровне снегов, этот кишлак, обездоленный природой. Ни кустика, ни дерева нет в этом кишлаке, — и лишь под ним, на склонах гор повисли (а не полегли) поля сжатых ячменей и пшениц. Даже в июле холодно в этом кишлаке. В этом кишлаке мы почти не видали людей: мужчины ушли на работы во все концы Таджикистана и Средней Азии, вплоть до Ташкента и Ферганы. Мы останавливались в самом крайнем и верхнем доме. Кишлак ступенями крыш опускался под нашими ногами. На крышах домов, которые одновременно являлись дворами домов вышележащих, появлялись изредка женщины, с двумя косами до колен, в шальварах; они веяли пшеницу (чтобы затем вручную ее смолотить, ибо единицею измерения пшеницы служит в Дарвазе тибетейки!). Ветер обдувал их; они пели гортанные песни, дополняющие снежную пасмурность гор, и они отворачивались от меня, когда замечали, что я наблюдаю за ними. Трубили в кишлаке ишаки, оповещая время. На нашем дворе между домом и ослиатником протекал ледяной гремучий ручей. Наши кони заполняли двор. Дом, в котором мы останавливались, состоял из террасы, на которой нельзя было оставаться от холода сейчас же за заходом солнца, и из глиняной ханы. В этой хане не было ни единой вещи, кроме фонаря и светца (очень похожего на российские, девятнадцатого века и ранних времен, светцы). Пол, стены и потолок были глиняными. Посреди пола было углубление для костра. Окон не было в этой комнате, — и окном, и дымовым выходом служила от-

душина в стене. Вокруг огня расстилались кошмы и одеяла; нам давали ватные халаты поверх наших войлочных; мы ложились к огню. На дворе резали барашка для палау, спуская кровь в ручей. Зимний мороз сковывал перевалы и кишлак; кричали перед сном ослы; в темноте слышалась женская песня. И чувства такого одиночества, такой бедноты, такой оторванности охватывали, что за ними забывались пятидесятикилометровые переходы по оврингам и разбухшие от усталости ноги.

И никогда, никогда не забуду я разговора с оружейным мастером в Кала-и-Хумбе! Долина Ванча в Дарвазе из веков известна своим железом и своими железными мастерами. Это мастерство вымирает. В Кала-и-Хумбе живут два мастера-железника, оба они старики — и оба они почетные граждане этой дарвазской столицы. Мы пришли к старшему. Дверь его мастерской была приперта камешком. Мальчик побежал разыскать деда. К нам пришел старик; он поклонился величественно, приложив руки к груди. Он был стар и был бодр, и его лицо было лицом европейца, голубоглазое. Халат его был опрятен. Он пригласил нас в мастерскую. Вся мастерская его разместилась на четырех квадратных метрах. Вделанный в колоб, шумел в углу ключ. Над горном свисали ручные мехи. Старик сел на свое место мастера, подогнув под себя ноги. Он сказал с гордостью, что он родом из Ванча. Он показал два кинжала, которые он сейчас делал, — в углу горкой валялись конские и ишачьи подковы. Он рассказал о великих мастерах Ванча, он сказал, что руду — до сих пор — он привозит на осликах с Ванча. Он, старик, сам пережигал руду на своем горне и делал из нее замечательные стали. Качество

руд бывает различно. И у старика была мера: хорошая руда — это та, когда от одной закладки печи получается железа на омач; плохая руда — когда эта же печь дает железа на ослиную подкову. Рукояти кинжалов, сделанные из козьих рогов, старик инкрустировал серебром, равно как серебром же старик писал свое имя на лезвиях кинжалов. Старик был — мастером. Старик рассказал, как его собратья в старину собирали, мыли золото и работали с ним. В мастерской было темно и пахло железными опилками. Старик предложил нам чаю и просил пожаловать к нему в дом на палау, — мы отблагодарили. Я рассматривал кусочек железа, вчера выжженный из руды, с меньшим вниманием, чем искусство кинжала. Когда мы прощались, старик сказал:

— Правду ли рассказывают проходящие люди, что в долинах у европейцев есть печи, в которых из руды сразу выжигается десять, сто и больше пудов железа?

Мы рассказали старику о домнах.

Старик сощурил глаза, опустив их в свои мысли.

— Тогда понятно, почему мои дети бросили мое ремесло, — сказал старик. — Наше искусство должно умереть. Мои дети поступили правильно!.. Большевики привозят железо, чтобы покрывать ими дома!..

В Гарме нас ждал самолет — этот, сделанный из железа.

Я видел на перевалах, как рождаются реки. Снег лежит спрессованным в лед. Нижние слои снега грязны. Снег лежит треугольником в ложине, и та часть треугольника, которая не касается земли, подмыта изнутри, образует снеговую пещеру. В пещере холодно, сыро, темно. И из пещеры течет небольшой, иной раз чуть заметный, ключ. Это и есть рождение реки.

В городе Кала-и-Хумбе мне сказали, что в город пришла женщина с Памира, из долины Ванча, девушка семнадцати лет, которая пробирается с Памира в долины, чтобы учиться.

Кала-и-Хумб — столица Дарваза, легшая на границе с Афганистаном на дне пиалы, образованной горами, — по существу говоря, не есть город, а школа, больница, исполком, Туркшелк, «Шерсть», каравансарай, красная чайхана (она же и гостиница). Вокруг города кишлаки; в городе, кроме таджиков и пограничников, человек пятьдесят-семьдесят европейцев, врачей, техников, исполкомщиков. О библейском средневековьи кишлаков рассказано. В Дарвазе есть кишлаки, где люди сплошь больны базедовой болезнью.

В Дарвазе таджикское население придерживается в религии исмаилитского вероисповедания, здравствующего и доньше. В дебрях философии и истории исмаилизма разбираться не стоит, — он возник в одиннадцатом веке в Египте; его представители — фатимидские халифы, потомки которых скитались по Ближнему Востоку, жили в Персии, а последние столетия живут в Индии, в Бомбее. Дело в том, что каждый живущий имам из этого рода фатимидов считается живым богом, нося звание Ага-и-Хана. Нынешний Ага-и-Хан, сорок восьмой по счету, окончил английский университет, имеет от англичан чин «его высочества», миллионер, рантье, любитель дэрби; но он — живой бог. В Бомбее у него громадная канцелярия; он собирает с верующих подати. Его данщики живут в Египте, Сирии, Персии, Индии, в Китайском Туркестане и на Памире. Ага-и-Хан, по дороге в Англию, заезжает иногда к средиземноморским своим поклонникам, показываясь в виде бога.

На Памире его конечно не было, но памирцы шлют ему подати, этому живому богу, окончившему университет. Дань с дарвазцев господь-бог берет золотом только, и платить дань должен старший в роде за всю семью сразу, по существующему на то регламенту. Мне существенен эпизод, записанный А. Готфридом. В экспедиции председателя ЦИК ТаджССР товарища Нусрат Улла Максума Люфт-Уллаева был советский работник с золотой челюстью. Этого работника в чайхане нашла женщина-таджичка, должно быть старшая в роде; она стала просить, чтобы он продал свою челюсть, так как приехал сборщик податей для Ага-и-Хана, а золота у нее нет. Владелец челюсти погнался старуху к шутовой матери. Старуха разыскала его вновь на другой день и привела за собой за руку цену на золото — свою собственную дочь, которую она предлагала сменять на золото — по желанию — в постель или в рабство. Мне существенен этот эпизод потому, что, быть может, эти строки прочтут англичане; потому что он рисует ага-и-ханские доходы, но также доказывает, что рабство, продажа и купля людей еще имеются на Памире, и еще говорит о положении женщины в исламе, вот той девушки, которую натурой привела мать за золото.

Паранджа ислама еще командует в Таджикистане: женщина не человек, женщина предмет купли и наслаждения, лицо женщины спрятано за конские волосы намордника, женщина спрятана за дувала в гаремных половинах. Ледники традиций еще очень крепки в морозе веков. В дни моего пребывания один мой товарищ был свидетелем следующего. Он заночевал в пути, в горном кишлаке. Ночью, когда оттрубили час сна ишаки и отлаяли собаки, он услы-

шал женский голос. Сначала ему показалось, что женщина поет какую-то очень грустную песню; затем он подумал, что женщина причитает над умершим; затем были одни сплошные вопли: кишлак не мог не слышать этих воплей, но кишлак спал библейским безмолвием. Наутро в джам (сельский совет) пришел таджик и сообщил, что ночью он убил жену потому, что жена сняла чашим-бандом, волосяной намордник. Таких эпизодов я знаю десятки. В таджикском театре, в труппе, убиты две женщины: одну убили родственники (убили, изрезали на куски, запрятали в глиняные сосуды, зарыли в подполье, — дело узналось только через год), другую убил муж в припадке ревности за кулисами, когда по роли на сцене она целовалась с другим мужчиной.

Советская власть строжайше стала на сторону прав женщины — вплоть до расстрелов нарушителей этих прав. В долинном Таджикистане воды ледников уже прошли. Мне известен эпизод, который похож на анекдот: у таджика сбежала жена; он поехал ее разыскивать; он нашел ее в городе; она не вернулась к нему. Возвращаясь обратно на своем ишаке, таджик заехал к знакомому по дороге заночевать, и он рассказывал приятелю в окончательном недоумении, что его жену в городе не только не прогнали, не только кормят, но ее взяли на завод, она ходит без паранджи и получает девяносто рублей жалованья. Друзья недоумевали, возмущались и улеглись спать; а когда они проснулись утром, выяснилось, что исчезла жена хозяина, у которого заночевал покинутый муж: жена сбежала в город вслед первой женщине, наслушавшись ночных разговоров мужчин. Это звучало бы анекдотом, если бы эти двое мужчин, повскакав

на ишаков, не догнали убежавшей женщины и не за-резали ее по дороге к городу.

Паранджа ислама еще командует в Таджикистане. Ледники средневековья еще скованы морозом столетий варварства.

В городе Кала-и-Хумбе, там, где живет мастер-железник, мне сказали, что в чайхану пришла девушка, убежавшая с Ванча и идущая учиться. Я пошел в чайхану. На кошке, опираясь о колено локтем, сидела среди мужчин одна-единственная женщина. Ее лицо не было покрыто чашим-бандомом. На голове у нее была женская тюбетейка, на плечах у нее лежали две чудеснейших косы. Она была одета в войлочный дорожный халат; из-под него видны были красные ситцевые шальвары. Ноги ее были обуты в муки, и на муки были надеты новенькие, блестящие — русского производства — галоши. В руках ее был тощий узелок. И я — я никогда не видел такого лица! Мне трудно передать словами мои ощущения. Она не была красивой, слишком орлин был ее нос, и ее глаза — эти необыкновенные, чудесные глаза! — портили в ней женскую красоту. Глаза были необыкновенны. Она смотрела вперед неподвижно, в одну точку, почти не мигая. Это были глаза подвижницы, взявшей подвиг прекрасного. Я знал, что этой девушке было семнадцать лет, — ей можно было дать двадцать пять. И одновременно с этим глаза ее заставляли думать о мудрости старчества. Она сидела неподвижно. Я стоял против нее. Она подняла на меня орлиные свои глаза, глянула на меня, точно я был пустым местом. Я знал, что она — комсомолка, исмаилитка — бежала из дома. Уполномоченный Туркшерсти товарищ Садыков подобрал ее в горах, — исполком искал для

нее лошадь до Гарма. Мне понятны были ее глаза, — она была подвижницей, и она шла в святость знания — вон от исмаилизма! — она, комсомолка! Если бы на эту девушку глянул человек, не знавший ее судьбы, ему б показалось, что глаза ее полны злобы и ненависти, — это была сосредоточенность: за этими глазами стояли смерти сотен ее сестер, гаремы тысячелетий, и за этими глазами стояла революция. (Я проследил судьбу этой девушки: она учится сейчас в Сталинабаде; там сотни таких девушек. Пусть кто-нибудь попробует вернуть их в средневековье: они, эти девушки с гор, знают, как заряжать мултуки, и знают, что такое средневековье!)

В Каратегине нас ждал самолет. Я видел, как рождаются реки.

БАСМАЧИ И ПОГРАНИЧНИКИ

Басмачи, как знаменитые актеры, также имеют свои имена и славы. В Таджикистане всем известны имена басмаческих курбаши Ибрагима-бека и Файзуллы Максума. Эти милостивые государи были сподвижниками Энвера-паши; ныне они проживают в Афганистане, «точка свои кинжалы». Я не стал бы засорять памяти их именами если б судьба каждого из них не была поучительна для басмачества и средневековья. Файзулла Максум — бывший каратегинский бай, родоначальник большого племени; но Ибрагим-бек никогда не был ни беком ни баем, а был вором, причем вором узаконенным.

Ибрагим-бек, прямо сказать, натура даже поэтическая и трогательная, рожденная средневековьем в большей мере, чем бай Файзулла. До революции,

при эмирате, когда Ибрагим был узаконенным конокрадом, как конокрад он терял однажды право на конокрадность из-за лирической любви к жене мельника, которую неудачно воровал, чем провинился перед начальством, и которой достиг только после того, как издурачил окончательно Энвера, арестовав его чужими руками и своими руками торжественно освободив. Ибрагим — локаец.

Десять лет тому назад в Таджикистане, в Восточной Бухаре, здравствовал эмир. Эмирская система правления заключалась в том, что эмир посылал по бекствам на кормление беков: бекам жалованья не полагалось, но, наоборот, беки платили жалование эмиру, собирая деньги с баев, кои в свою очередь драли последнюю рубашку с населения. Это было общее правило. Но были и исключения, свойственные средневековью, аналогичные тому, что было в Московии с казаками, когда казаки платили царям дань, получая за то обычаем освященные права грабить; таким же правом пользовались от эмира в Восточной Бухаре локайцы — узбекское племя, расположившееся в горах Бабатага, вокруг Кокташа, считавшееся разбойничьим, само себя разбойничьим почитавшее, проживавшее вольно полукочевым способом, платившее эмиру дань и конокрадствовавшее по чистой совести и по традициям отцов. Мораль есть вещь относительная, особенно если она освящена «святым законом старины». И каким поленом можно вколотить истину о том, что грабеж — есть грабеж, вколотить в голову Ибрагима-бека, честного, можно сказать, локайца, который воровал и грабил — законно и справедливо!? (Когда он несправедливо воровал — например, жену мельника, — он сам знал, что это не-

справедливость, и каялся!) Воровство и грабеж по средневековому праву есть экономика — суть экономические отношения, когда эмир законно без жалования посылал грабить беков, которые и грабили, и давал право локайцам и прочим воровать. Ибрагим-бек перестанет грабить только в одном случае: когда он умрет, — он или его время — все равно. Линия ибрагимо-бековского басмачества умрет вместе с окончательной смертью средневековья в Таджикистане.

Беки жили — семь лет тому назад! — в замках. Верноподданные энного бека разводили каракулевую овцу; верноподданные мэнного бека разводили каракулевую овцу. Для того чтобы получить наилучший каракуль — каракульчу, надо овце-матери разрезать брюхо за три дня до нормальных родов. Резать брюхо овцам, своими руками вскормленным, вспоенным и выхолоненным, — невыгодно да и тяжело средневековому сердцу, существующему по морали, утверждающей благо когда украд и утверждающей зло когда украли у меня! Но каракульча — есть ценность! Поэтому кишлак энного бека, иной раз во главе с самим беком, темною ночью нападал на отару кишлака мэнного бека, чтобы резать овечьи брюха, при чем нападал иной раз в те самые ночи, когда кишлак мэнного бека резал овец энных. Чистейшая экономика!

И до сих пор, ежели Ибрагимы-беки приступают к своему ремеслу (в газетах пишут — «появилась басмаческая шайка в таком-районе»), то приступают они к нему в строго указанные числа, главным образом когда они свободны от сельскохозяйственных работ.

Теперешний, советский судья жаловался:

— Подите, посудите их! Шлешь подсудимому че-

раз милицию повестку; милиционер ее вручил честь-по-честь. Подсудимый говорит: «сейчас приду, вот соберусь и приду!» — а сам оседлал коня да в горы, да либо в Китай, либо в Афганистан к басмачам. Пойди, поймай его в горах! В долинах, конечно, граница охраняется, — а пойдя убереги ее на Памире!

(Об этом судье надо в скобках сказать, — он же говорил, что часто к нему приходят судиться афганцы, и обвиняемый, и обвинитель, и свидетели все вместе. Обстоятельство объяснимо просто: в афганском суде средневековые еще здравствуют; прежде чем прийти к судье, надо нести ему взятку, которая и предрешает исход дела, но которая стоит всегда дороже самого дела. И афганская беднота ходит в советский суд за справедливостью кроме всего прочего потому, что взятки здесь платить не полагается. Эти ж скобки имеют отношение к вопросу о басмачах тем, что указывают естественное расслоение классов!)

Теперешний советский работник приезжает иной раз в глухой кишлак, спрашивает декханина:

— Вы член ширката (с.-х. товарищества)?

Декхания отвечает: — Нет, не член.

— А как же тут написано, что вы получили кредит и контраковались? Вы деньги под шелковые коконы получали?

— Получал, да, но не из ширката.

— А откуда?

— От мулло Худай Назара.

— Это кто же такой мулло?

— А вот он! — декханин показал на секретаря ширката, — вот он наш мулло!

Мулла оказался проводителем мероприятий советской власти!

Но вот к начальству приходит старец, библейский, благообразный; из старца сыплется песок; старец божески глуп, старец говорит:

— Я уже совсем стар. Когда лежу — не могу сидеть. Когда сижу — не могу двигаться. Когда стою — не могу лечь. А когда сейчас вижу тебя, начальник, я так рад, что не вмещаюсь в свою кожу от радости, да благословит тебя аллах! — А ты думаешь, что я враг советской власти! — Я пришел тебе сказать, что я моему племени не велю делать... того-то и того-то.

Старец есть старейший в роде. Старец глуп от бога, но он помнит шариат, и ему удобнее покоить кости в эмирских понятиях, — он любит начальство так, что не вмещается от радости в свою собственную кожу восточной вежливости. Но начальству вдруг он предлагает то снять председателя сельсовета, потому что тот его не слушается и не угождает, то посадить туда-то таких-то баев, сердечно сообщая, переполненный радостью, что в противном случае такие-то и такие-то умрут, просто-напросто умрут по воле аллаха. А у себя в кишлаке старец разговаривает иначе. Иной раз он приходит в джам-совет, в суд, в кооперацию и говорит просто:

— Если не будете меня слушать, подниму моих джигитов и всех вас арестую! — И больше ничего!

Тремя абзацами выше написано о секретаре ширката. Тот, естественно, ходит к старцу за спросом:

— Что, батюшка, прикажете делать и как, батюшка, поступать?

Все совершенно естественно в этой «естественности» средневековья, бывшего вчера! До сих пор, когда байство и бекство изгнано гражданской войной, все же есть в Таджикистане (Восточном и Горном) отноше-

ния, которые выражаются в следующих цифрах, добытых статистикой и аэрофотосъемкой, очень немногих, но красноречивых. Бедняков в иных районах по отношению ко всему населению 39,6%, а земли у них по отношению ко всей земле 10,7%; баев же 8,6% земли у них 46,2%. Безземельных, имеющих до двух га — 30,6% населения; они располагают всего 5,5% земельных площадей. Имеющих же земли больше шести га (это уже богатеи!) также 30,6% земли у них в руках — 63,9%. Земельная реформа еще не везде проведена в Таджикистане, очень много предопределяя этим.

Эту главу я начал историей Ибрагима-бека и ибратимо-бековскими причинами басмачества; сейчас я пришел к корням басмачества — файзулла-максумовского басмачества — класса гонимых из Таджикистана баев, беков, мулл. Этим народам везет: им недалеко бегать за границу, где в Афганистане они оказываются в своей тарелке и где в Индии их голубят англичане. Пускай везет! — тем паче, что взамен им к таджикам из-за границы приходят те, кому по пути с социалистическим Таджикистаном.

Граница с Афганистаном идет в Таджикики по Пянджу, сползая с Памира, и эта граница представляется мне отвесной не потому, что она обрывается отвесами гор, между которыми течет Пяндж, но потому, что этой границей обрываются социализм в средневековье, средневековье — социализма. Вдоль границы живут пограничники, которые хранят Пяндж.

На пограничников возложено караулить басмачей. Я лично басмачей не видал, — разве на фотографиях, — но пограничники подарили мне ружье, отобранное у басмача. Ружье называется — мултук: это

даже не кремневое, но фитильное ружье, самопал в пуд весом, из которого стреляют с треноги, как при Тарасе Бульбе.

Амовская полуторатонка остановилась на сарайкомарской площади. Зной превращал площадь в тропики, зной сделал азиатские улочки пустыми. Пыль лежала на моих щеках, на лбу, на ресницах и на белом моем костюме так, что все стало желтым как лёсс. Я взял мою котомку за плечи и пошел разыскивать штаб погранотряда. В моем бумажнике хранилась бумага о том, что мне предоставлено право пребывать в запрещенной пограничной полосе.

Ворот никаких не было. Сразу за дувалом возник чудесный столетний парк. Аллея вела к пустому небу. Направо и налево под платанами белели военные летние палатки. Я пошел по аллеям к небу. В конце аллеи — широчайшим пологом полегли долины Пянджа джунгли, за Пянджем — Афганистан, афганский городок, у самого берега Пянджа — афганский пограничный пункт, — за горами была Индия. Границы всегда таинственны, места творения темных дел.

Начальник отряда товарищ Б. встретил меня как старого знакомого.

— Пойдем покупаться на реку или удобнее под колодезем? — моя жена больна к сожалению, — у нас коллективный огород, сажаем русские огурцы, капусту (о капусте здесь ведь никто не знает); жена полдела помидоры, была наша очередь, и доработалась до теплового удара. Помойтесь, сходим посмотреть наше хозяйство, — и тогда готов будет чай.

Я счел за благо мыться из ведра у колодца.

Сейчас же после воды мы пошли к Пянджу. Еще раз, как на Вахше, как во многих местах, я пересыпал

на ладони желтый песок, поблескивающий золотыми крупинками. Сейчас же под домом, под обрывом начинались тугай, — джунгал, — джунгли! Над головами зазвенели мириады различнейших moskitov, завыли, застонали, — задушил сырой зной, закружил голову сотнями запахов. Камыш и ветвистый тростник, завитый, спутанный десятками различнейших вьющихся растений, солодки, мия, турангыл, джида, кендырь, гребенщик, тамариск, белые пахучие цветы плюща, — эти растения стояли сплошной дышащей стеной, сокрыли нас, свисли над нами.

Солнце садится в Таджикистане быстро. Солнце шло к закату. Кричали болотные птицы. Из-под наших ног взлетали стаями фазаны. С закатом закричали жабы, лягушки, зазвенели цикады.

Мы вышли к Пянджу, Пяндж ревел под ногами.

На ночи, когда в джунглях начинают жить звери, люди уходят отсюда, — ночами здесь рыщут тигры и по болотцам бегают фосфорические синие огни. Впрочем, люди и не живут в джунглях, в которых каждую минуту можно заблудиться и в которых здравствует малярия.

Мы вернулись к штабу (на огороде я видел стройные ряды православной капусты, посаженной красноармейцами), но за десять минут до захода солнца мы опять были над Пянджем, над тугаями, следя за их жизнью с обрыва. По зимам в эти тугай прилетают с севера от нас, из таежных областей, с тундры, с арктических островов гуси и лебеди, чтобы зимовать здесь. Здесь стадами живут кабаны, олени, одичавшие лошади. Солнце садилось за горы всем своим субтропическим величием. Джунгли готовились к ночной своей жизни.

— Сейчас завоюют шакалы и будут мяукать рыси и дикие кошки, — сказал товарищ Б.

И действительно за две минуты до заката солнца из джунглей понеслись отвратительные, плачущие, стонущие, напоминающие крик задыхающегося ребенка, вой шакалов.

— Отсюда можно иной раз слышать рев тигра, — сказал товарищ Б. — В этом году пограничники убили трех тигров; одного из них мы послали в подарок товарищу Сталину. Таджики называют тигров джул-барс — барсами из джунглей. Сейчас же после заката тигры идут на свою работу. Всегда около тигра живет кара-кулак, камышевая рысь, которая беспрестанно визжит и мяукает еще ужаснее, чем выдра. Своим мяуканьем она навлекает на себя хищников, которых бьет тигр, — она питается тем, что остается от тигра. Если вы услышите этот ужасный ее вой, знайте, что рядом тигр.

Я прислушался к джунглям. Из мрака, который пришел сразу за закатом солнца, неслись тысячи звуков необыкновенной, первобытной жизни. Так в молчании мы стояли четверть часа, съедаемые москитами.

А вечером мы пошли в сарай-комарский клуб — на ту самую пустую площадь, на которой я покинул в заповедни автомобиль. Сейчас эта площадь, сплошь заставленная столиками и застланная кошмами для таджиков и афганцев, являла собою сплошную чайхану. Палительное солнце Припамирья сейчас же за своим уходом несёт прохладу отдыха. За столиками сидели пограничники, на кошмах сидели и полужалялись таджики. Одни ели плов или шашлык, другие пили чай-кабуд. Крышею было небо, где звездам было тесно от бесконечного их количества.

За нашим столиком слово держал товарищ М., которого прозывали Максумом. Штаб отряда, который походил на помещичью усадьбу, командовал тысячу километров границы. В усадьбе была тишина, но по границе, по дозорам и пикетам, сидели красноармейцы, караулили таинственность границы, контрабандистов, басмачей. Мы пили чай под крышею неба.

Товарищ Максум провел в Таджикистане все годы гражданской войны, — и Максумом его прозвали потому, что он сам стал походить на таджика, говоря на всех таджикских наречиях, приняв быт таджиков, да и проживая среди них. Мне до встречи с товарищем Максумом были известны обыкновенные истории, когда на отряд басмачей в сорок человек нападали семеро красноармейцев и разгоняли басмачей. Слышал я об одном краскоме, который сам-три, он да двое красноармейцев, приняли атаку двадцати басмачей, рубились так, что убито было семь басмачей, оба красноармейца также были убиты. Краском, израненный, остался победителем, отправлен был на Кавказ залечивать раны и получил от начальства нагоняй за храбрость.

Товарищ Максум пил чай-кабуд не спеша, отираясь полотенцем, и говорил не спеша о временах, когда он гнал «бухэмира», как говорил он сокращенно, и рассказывал разные вещи по поводу, кстати. Например:

— К собакам, знаете, надо относиться с уважением. Сколько раз собаки мне жизнь спасали. Один раз пришлось мне заночевать в чайхане, неподалече отсюда; было это в году двадцать четвертом, в войну, одним словом. Кишлак расположен на горе, чайхана — на обрыве; с этой стороны дувала нет. Застрелял я в этом кишлаке один, без товарищей. Заночевали

в чайхане я да еще двое русских, штатских, хотя оружие при всех было: две винтовки, наганы, при мне гранаты. Хозяин ушел из чайханы к себе домой, к жене, что ли. Сплю, винтовка и гранаты под головою. Спим на террасе. Терраска, знаете, на возвышении. И вдруг слышу во сне — скулит собака, жалобно так скулит и беспокойно. Открыл глаза. Луна светит. (Извините меня, я тоже вот помню случай: ночевали в разбитом кишлаке, ни души в нем нет, только наш дозор человек пять устроились на ночлег. Вечером также луна светила; я вышел на двор, собрался зайти за разбитое дувало, забыл по какому делу, — подхожу, а на меня с той стороны тигр смотрит: глаза на лунном свете вроде слезятся. Я даже забыл, по какому делу за дувало собрался, — считаю с тех пор, что второй раз живу на этом свете, не помню, как жив остался...) Ну, так вот. Открыл глаза. Двое моих русских спят, и истошно так воеет собачка. И вижу на дворе, в тени, в обход к террасе ползут гуськом басмачи. Будить русских я не стал, все равно, знаете, думаю, как гранатку брошу, проснутся, а пока надо выждать положение: думаю, как подойдут к лесежке на терраску, я гранатку и брошу им под ноги. Наблюдаю — ползет человек пятнадцать. Соображаю, в кишлаке есть сочувствующие, — либо сами помогут, либо слетают в Куляб — там наша часть стояла (это, знаете, около Куляба было.) Действительно, бросил гранатку. Они там под лестницей завизжали, басмачи, а русские сразу сели и руки к лицам: сразу видать, штатские. Я им говорю — басмачи, отстреливайтесь с умом, чтобы патрон хватило, а то зарежут. А они, как услышали про басмачей, опять легли и лежат как мертвые. Я их тревожить не стал:

«время терпит, — думаю, — пусть очухаются; потом, — думаю, — вот ведь народ какой!» — Зарежут, — говорю им, — вас голыми руками. — Басмачи тем временем засели кто где и начали обстреливать нас. Я не спешу. Высунулся один; я его положил. Ранили меня в плечо. Стреляют пачками, конечно бестолково, но отстреливаться надо. Я говорю русскому, у которого винтовка: дай, мол, твою винтовку, а мою заряди, мне некогда, — а он не двигается. Я ему еще раз сказал, молчит. «Вот сукин сын, — думаю, — или убить?» Я тогда взял да стрельнул ему в ж... из нагана, чтобы оживить: сразу задвигался (я, конечно, его чуток подранил), подал винтовку, а мою зарядил. Стреляем так минут двадцать; с рукой мне трудно, помощи нет. Я говорю другому русскому:

— Прыгай с терраски прямо под обрыв, беги за помощью, а мы тут побудем.

Целую ночь отстреливались. С тех пор я ни одной собаке зла не делаю. И еще много случаев было, когда собаки меня спасали. Знаете, собаки в нашей жизни очень важное дело. Басмачи тогда на рассвете от меня отстали, преследовать их я не мог. А про собак — так я вам про нашего Бабая расскажу. Видели, может, у нас в отряде желтый такой пес с отрезанными ушами и со сломанным хвостом. Ведь этот Бабай умнее многих людей.

Днем он предпочтительно лежит в арыке, весь в воде, только голова наружу, — это для прохлады и от москитов.

А то, извините, есть у нас тут один афганец, которого всякие гады кусают, а он не помирает. Каракурт, знаете, кусает, кобра, фаланга, скорпион. Да, впрочем, я его сейчас позову.

Товарищ Максум крикнул в темноту по-таджикски.

— Сейчас его позовут, — сказал товарищ Максум. —

Бабай днем лежит в арыке, а как наступает темнота, он собирает всех отрядских собак и разводит их по постам; верст двадцать пройдет по границе, до соседней комендатуры, и везде, где надо, расставляет собак на караул: у пикетов, у дозоров, а то прямо по своему усмотрению. С вечера он их разведет, — ночью сходит, посмотрит, — ежели какая собака заснула, он ее зубами за ухо, да так натрепит, что та век будет помнить. К рассвету Бабай всех собак собирает и ведет к кухне завтракать, а потом собаки до вечера живут вольно. Сколько красноармейцам жизни спасли эти собаки, сколько контриков переловили, — не сосчитать. Я, знаете, если получу сообщение, что с той стороны шаланда с контриками собирается, красноармеец проходит, так человек, рыбак — собаки ведь внимания не обращают, а ежели басмач или контрабандист — прямо нельзя понять, как узнают! Если много басмачей или контрабандистов, они бегут в отряд с тревогой. А то вдруг Бабай пропадает дня на три, на неделю, вернется похудавший, изодранный, голодный, — один раз пришел со сломанным хвостом, это он ходит по всей границе, где наш отряд расположен, чуть ли не до самого Памира, — контролирует собак, как они себя ведут на комендатурах или по заставам, учит их, наставляет, все ли в порядке, прямо, знаете, как начальник отряда. Все собаки его уважают, и характер, знаете, у Бабая строгий и справедливый. Один раз Бабай привел в штаб кабаненка, вел его за ухо. А в Мерве был пес, вроде Бабая, так тот на поезде ездил в Кушку наводить собачий порядок.

Рядом где-то заиграл военный оркестр.

— Афганцы сейчас наберутся к берегу музыку слушать, — сказал товарищ Б. — Наш оркестр очень хорошо слышно в Афгании.

Подходил к нашему столу средних лет Тарас Бульба, знаменитый в отряде тем, что он убил шестьсот штук кабанов. Пришел афганец, сухой, стройный, молодой красавец, в чалме, в красном халате, — человек, который не умирал от укусов гадов, — присел к нам, по-русски он не говорил.

— Вот этот самый мой приятель и не умирает от гадов, — сказал товарищ Максум знакомя и заговорил по-афгански. — Жаль, нету при нем сейчас коробочки какой-нибудь — он подарил бы вам. А каракуртика, знаете, повезите уж от нас на память, — сказал товарищ Максум.

Афганец пошел добывать каракурта, укус которого смертелен. Товарищ Максум рассказал историю своего приятеля. Афганец. Его профессия — удивлять людей тем, что он не мрет от укуса гадов. Он, этот афганец, был в Персии, в Индии, в Китае, кроме Таджикистана и своей родины. Он не только не умирает от гадов, но он умеет их находить и подсвистывать. Сейчас он работает на Таджикгосторг сдавая туда кожи змей и варанов, пустынных крокодилов-ящеров. Этот афганец принял свою профессию от отца, от отцов. Эта профессия не умирать от укуса гадов пришла из древности: отцы учили детей, иные дети умирали, но оставшиеся в живых были иммунны к укусам гадов. Афганец вернулся с коробочкой от экспортного монпасье Моссельпрома за пазухой и с каракуртом в руке. Каракурта пустили на стол. Пограничники и я отодвинулись от стола. Афганец дал каракурту немного побегать по столу и убрал его

в моссельпромовскую коробочку вместе с его гнездом, похожим на грецкий орех. Я почтительно положил коробочку в карман, чтобы отвезти каракурта в Москву. (Я не довез его: в одном месте на острове Урта-Джунгал я нырял в воду вместе с лошадьё, по лошадиные уши и по мой шлем. В Сталинабаде поэтому с величайшими предосторожностями я открыл коробочку с каракуртом — посмотреть, не промок ли. — В коробочке лежали отдельно тельце каракурта, его ножки и гнездо, — каракурт умер от зноя, высохнув).

Афганец попрощался с нами, приложив руки к груди. Оркестр стих. Товарищ Максим заговорил:

— А я, знаете, расскажу вам еще одно дело про гадов. У нас тут опиекурильщики есть... Но этот рассказ товарища Максума я отложу на конец главы.

Мы вернулись в штаб, в парк. Внизу во мраке ревел Пяндж. Во мраке лежал Афганистан. Этот погранотряд охранял почти тысячу километров. Границы, разделяющие нароодообразования, всегда таинственны. Какие дела творились в тот час на границе? какие мысли были у пограничников в пикетах?

Товарищ Б. сказал перед сном:

— Очень надоедают нам здесь крысы и термиты. Я покажу вам завтра, какие квартиры настроили себе крысы около арыков. Нам присылали крысиный тиф, но он портился в дороге. Ведь почта к нам идет около месяца.

Следующий день у меня прошел в отдыхе, одиночестве и сне. А в три часа ночи, чтобы до солнца, до зноя перевалить через безводный хребет Кара-тау, я ушел в поход. Я отправлялся на самую дальнюю комендатуру. Со мною ехали помощник начальника

комендатуры, товарищ Ю., и красноармеец, товарищ Нагорный, украинец родом. Ночь была черна как сажа. В темноте парка мы поладили вещи к седлам; лошади позвякивали удилами. Лошади пошли в сажу ночи. Шагом и в безмолвии границы мы выехали за кишлак.

— Рыснем, — сказал товарищ Ю. — И мы пошли крупной рысью, опять-таки в сажу, ровным плато до подгорий. Залаяли в темноте собаки. Подъехали к пеплу костров; рядом была кибитка. Окликнул дозорный.

К слову надо сообщить читателю о том, что называется в Таджикистане кибиткою, ибо говорится, что многие заставы только в этом году переходят из кибиток в дома: так кибитками называются там вовсе не кибитки в русском понятии этого слова, а местные глиняные дома, которые сами таджики называют ханами, причем товарищ Ю. о своей квартире говорил, что у него две кибитки и кухня, то-есть две комнаты и кухня.

Как в сажу мы полезли в горы. Товарищ Ю. ехал впереди меня, Николай — сзади. Так мы ехали всю дорогу. В десяти шагах я не видел товарища Ю., следуя за ним по слуху. Хотелось спать, и ноги притерпчивались к седлу. Нам предстояли пятьдесят километров перехода без отдыха и с одним термосом воды. Позвякивали подковы лошадей о камень, позвякивали удила. Ни звука не было в мертвых горах, убитых безводьем. Там, где дорога позволяла, товарищ Ю. говорил: «рыснем», и мы шли рысью, походным аллюром.

Рассвет в Таджикистане приходит так же, как закаты, — очень быстро. Вдруг я увидел очертание

вершины и различил во мраке силуэт товарища Ю. Через четверть часа небо было уже зелено, и я видел вокруг мертвую пустыню выжженных желтых камней и песков, сирость, убогость смерти, и не понимал, каким образом здесь, где нет ни одной травинки, растут запыленные и пожухлые фисташковые деревья. На иных деревьях на сучьях висели пестрые ленточки: это были мазары — священные деревья, и эти белые, красные, зеленые, синие тряпочки были оставлены непонятно проходящими верующими, непонятно потому, что эти места были в запрещенной полосе.

Еще через четверть часа палил зной. Ни единого человека не встретили мы на своем пути, и только на спуске повстречался нам военный автомобиль.

Мы приехали в зной к реке Кизыл-су. На заставе там, испив множество чашек чая, мы легли в прохладе и темноте конюшни спать, в расчете превратить ночи в дни, чтобы не страдать зноем, оставив для дня лишь переход по острову Урта-Джунгал.

Однажды такую же ночью, как сажа, уже под самую той комендатурой, которая была конечной целью моего похода и где начальствовал товарищ Ю., был со мною такой случай. Надо было бы, по существу говоря, переночевать. Товарищ Ю. спешил к дому. Мы перебирались через последний перевал. Были полночь и звезды вокруг. Много раз уже было так, что мы пробирались тропинками над пропастями, в высотах, а внизу под нами жили кишлаки. Переход за те сутки был километров в семьдесят. Мы ехали молча, в усталости. Должно быть я сидел на коне и спал. Я проснулся... Звезды. Совершенный мрак. Цоканье подков. И рядом, внизу, в километре отвеса я увидел огоньки кишлака. В губах у меня осталась

забытая папираса. Я машинально ее закурил: стало вдвойне темно. Тогда я подумал, что папиросу надо бы бросить и надо лошадь отвести вправо от обрыва, чтобы не свалиться. Я повел левой рукой, в которой были поводья, чтобы отодвинуть лошадь — лошадь не послушалась. За моим коленом были огоньки кишлака.

— Пойдешь же ты у меня! — сказал я вслух и повел поводьями строго.

Лошадь не слушалась. Правой рукою я вынул изо рта папиросу, бросил и замахнулся нагайкой, и моя папираса не упала на землю, но летит, летит, летит. Из темноты я услышал сонный голос товарища Ю.:

— Вы поосторожней. Здесь с обеих сторон пропасти.

Мой конь, которому я хотел помешать итти, вырвал меня от того полета в пропасть, который сам я себе готовил.

В одном месте после зноя Урта-джунгал, мы переправлялись на турсуках через Беш-Капу. На раму, связанную веревками и положенную на бурдюки, мы сложили наши вещи, седла, оружие. Таджик-перевозчик привязал одного из наших коней за хвост к плоту, сел на него верхом (другой таджик других коней повел вплавь). Конь, привязанный за хвост к плоту, был тою силою, которая управляла нами. Таджик управлял конем. Секрет управления заключался в том, чтобы лошадь, на стрежне, в курьрском ледяной воды, обезумев в инстинкте самосохранения, не бросилась на плот: тогда с плота в воду валяются люди (вещи привязаны) и гибнут.

В Урта-джунгал мы двинулись в зной, на этот остров джунглей. Когда мы спускались с гор к джунглям около Кизыл-су, мы видели стадо кабанов, уходивших в горы на отдых... Зной, нестерпимый зной!

Тропа, хотя она считается проезжей дорогой, видна в трех шагах впереди; направо и налево свисают листья — эти стрелообразные листья болотных растений — камыша, тростника. Они бьют по лицу, через них я вижу зеленую фуражку товарища Ю. да круп его лошади. Мы едем в камыши как в стену. Из-под ног взлетают фазаны. Зной, нестерпимое удушье.

Мириады насекомых летают над головами коней и нашими. Направо и налево непролазные стены камыша, поистине непролазные, ибо куст в куст стоят сплошною, задыхающеюся стеной и все перевито лианами плющей.

Здесь, кроме зверей, могут только быть пограничники; поэтому товарищ Ю. очень внимательно и очень озабоченно изучал афганский халат, брошенный на дороге, а с ближайшей заставы помчались всадники и собаки разыскать того, кто бросил халат.

Когда мало-мальски раздвигались тростники, товарищ Ю. говорил: «рыснем!» — и по нашим лицам бил тростник. Иной раз под ногами возникали ручьи, мы ехали километрами по воде. Рядом, невидимый, ревел Пяндж.

Однажды, когда товарищ Ю. сказал «рыснем!» и нас хлестал тростник, вдруг фуражка товарища Ю. и круп его коня исчезли передо мною, а через секунду я видел, как уши моего коня покрыла вода, и ощутил, как вода сорвала мой шлем. Корни камышей и тростника, сплетаемые веками, крепче земли; Пяндж подмывает землю под корнями, — и вот Пяндж появляется среди тростников в неожиданном-негаданном месте. Я не успел осознать, что я окунулся в воду, как конь мой вынес меня на дерн дороги и понес вперед карьером, пока не наткнулся на взмыленного

коня товарища Ю. Кони храпели; мы были мокры как мыши. Этой ночью по этой тропинке проходили дозоры; за какие-то часы Пяндж вылез на тропинку из-под земли.

Мы выжимали, съдаемые москитами, воду из нашей одежды и долго ждали товарища Нагорного, который, увидев, как мы ныряли в воду, должен был превратиться в путешественника, открывающего новые земли и, вместе с конем, искал и прокладывал новую дорогу, рубя камыши шашкой.

В тот день к ночи мы добрались до комендатуры. до отдыха, мылись, пили, отдыхали. При нас вернулись первые дозоры с пикетов, и красноармеец в темноте у коновязи, расседывая лошадь, украинец, на своем языке, стиль которого я не могу передать, рассказывал:

— Иду я на коне в темноте и думаю: «Осенью у меня конец службы. Дома у старика хата»... А у меня у седла оторвалось крыло. Винтовка за спиной. Крыло в руке. И вдруг из-за куста на меня — прэвэлыкий кіт! — пролетел мимо моей груди, над головою коня, я его крылом по усам хлопнул, а сам подумал: «вот тебе и старикова хата!»... «Прэвэлыкий кіт» — это я навсегда запомнил: громадный кот!

На красноармейца прыгал или тигр или барс, — этого не разобрал сам красноармеец, не установив, кого он бил по усам крылом от седла. Мне рассказали тогда, установленное из практики, что, если тигр или барс бросаются на жертву и промахиваются, они оставляют жертву в покое, если сама жертва не падает на них, как это делают охотники.

Зной! вода! Сколько воды я испил за этот поход! и какой! — я пил из арыков, из луж, пил

из лужи в тот самый момент, когда туда мочилась корова. Зной! вода! переутомление похода! — я спал на земле под солнцем, в конюшнях застав, в юртах, в кибитках красноармейцев. По дороге мне показывали гору, сплошь состоящую из соли; место где красноармейцы-украинцы, криворожцы, нашли каменный уголь и отапливаются им без всяких заявок; гору азбеста; показывали мне речку, где роют кустари-таджики золото. По горам, у рек, в джунглях, на комендатурах, заставах, на пикетах живут замечательные люди, которые называются пограничниками, — живут тем бытом, которому посвящена эта глава. Видел я на границе контрабанду. И о ней надо сказать, что контрабандисты от нас везут — ситец, мануфактуру, мелкие металлические поделки. Это указывает мне на существенное обстоятельство отсутствия ситцев и прочих мануфактур в странах, которые суть в полном смысле «благословенные» английские колонии, и есть двусмысленные полуколонии, в роде... Видел я на границе моих соотечественников, которые хотели бежать за границу. Их два типа. Тип первый мне симпатичен, второго мне жалко. Первым по возрасту — от семнадцати до двадцати пяти лет; среди них были даже комсомольцы, которые в своих сердцах везли в Индию революцию: это люди, начитавшиеся Майн-Рида и Киплинга, фантазеры, охотники за кобрами, иогисты и прочее. Тип второй — это люди обязательно от сорока лет и тоже, должно быть, мечтатели. Я расскажу судьбу одного такого, с которым я разговаривал. Московский бухгалтер, сорок семь лет, немецкая фамилия. Через Москву в течение нескольких лет он пересылал маленькие доллары в Индию. Он покинул Москву,

подписав договор на работу в Таджикистане. Он поселился в приграничном городке, работал в кооперации, жил у таджика. На дворе у себя он вырыл бассейн и в течение полугода учился плавать на турсуке. Он выступал в кооперации завзятым советским деятелем, чтобы отвлечь от себя подозрение. Он изучал таджикский язык, чтобы с ним не пропасть в Афганистане; еще в Москве он изучил язык английский, чтобы не пропасть в Индии. Все было предусмотрено. В тот час, когда ночью с двумя турсуками (один для плавания, в другом собраны были вещи, необходимые в пути, спрятанные в турсук, дабы не измокли), в тот час, когда он разделся на берегу Пянджа, чтобы пянджескою водою смыть с себя прах Союза Социалистических Республик, — к нему подошел пограничник и сказал заботливо: — Идемте, гражданин Л.!

На последней комендатуре, где помначальствовал товарищ Ю., откуда я покидал границу, я встретился с моим коллегой, с писателем, с человеком, заваленным книгами и книгами бредящим, — здесь, откуда до Москвы ехать три недели и куда почта идет полтора месяца. С товарищем К. я вел там странные разговоры о том, жениться ли ему на таджичке, — он обуславливал эту женитьбу (а оба они любили) возможностью повезти жену в Москву, чтобы она училась, чтобы затем в Таджикистане была лишняя культурная женщина. В этой комендатуре, уже в горах, где вся красноармейская мебель сделана из ящиков от патронов, где люди живут уже бытом горного, а не долинного Таджикистана, красноармейцы показывали мне школу, которую они сделали для таджикских детей, коконосушильную фабрику. И какими замечательными пирогами угощала меня

на комендатуре жена товарища Ю.: никогда в жизни не ел таких пирогов на кабаньем сале!

Товарищ же Максум в штабе отряда, на площади, которая была превращена в ночную чайхану, рассказывал мне о гадах и об опиуме.

Опиум, этот сок мака, который превращает людей в маньяков и убивает людей, окружен таинственностью средневековья так же, как пантовые рога и корень жен-шень. Для тех, кто курит опиум, он дороже золота, потому что опиум можно выкурить, а золото съесть нельзя, да и рыночная цена опиума дороже золота. Разведение опиума запрещено, но опиум разводят: для этого в горах находят потаенные площадки, в непроходимых местах; поэтому часто в непроходимых местах гор находят истлевшие трупы, около опийных площадок, тех людей, которые сажали опийный мак, но которых проследили другие опийщики и убили, чтобы собрать опий. Сырой опий есть сок головок опийного мака. Для того, чтобы опийный сок был хорош, чтобы его не спалило, не испортило солнце, надо надрезы на маковых головках делать в час после заката солнца и надо собирать сок за час до солнечного восхода. Опий несут за границу и приносят из-за границы: афганские и китайские пограничники за унций опиума пропускают через границу кого угодно. Опий имеет специфический запах. Чтобы его сокрыть, его вмазывают в глину стен или прячут в горах. Опий не имеет охраны государственности, и вокруг него всегда преступления, убийства, темные дела. Я курил опиум раза два; на меня он не действовал никак, но, должно быть, правильно, что это самый страшный наркотик, который, подчинив себе человека, разрушает его

волю, завладевая человеком всецело, посылая его даже на смерть.

Государственность борется с опикуреньем, с опикурильнями, разыскивая и разоряя их. И вот рассказ о гадах. Гады, оказывается, так же, как и люди, подвержены бреду опиума. У каждой опикурильни есть свои гады. Опикурильня разрушена — опикурильщики устраивают новую опикурильню, — и из щелей, из-под лавок вдруг высовывают свои головы черепахи, ящерицы, змеи, пауки, чтобы нюхать опийный дым; гады нюхают воздух, гады вдыхают запахи опиума, гады блаженствуют. Опикурильня разрушена вновь, — гады приходят на новое место. Опикуренье, как вообще наркотики, есть ерунда и мерзость древности, варварства, варварского отношения человека к самому себе.

Я написал эту главу, чтобы рассказать о быте границы в Таджикистане, пограничной страны СССР, но эта глава начата речью о басмачах: я заканчиваю ее рассказом об опи и опийных гадах, потому что опийные гады есть третья, кроме описанных выше двух, линия бесмачества. С этим надо считаться, потому что это есть в жизни. В горах по границе сейчас строятся богарные красноармейские колхозы. Остров Урта-джунгал, где мы тонули, сейчас уничтожается, — я писал в главе о долинном Таджикистане, что река Беш-Капу уничтожается, и этот остров джунглей будет отдан хлопку и рису.

СТОЛИЦА СТАЛИНАБАД

Трижды я видел этот город с неба, когда самолет кружился над ним, чтобы сесть, и каждый раз само-

лет подолгу делал над городом круги, чтобы при-смотреться к месту посадки из-за тех пылей, которые стояли над городом. Город внизу утопал в пыли, но каждый раз за пылями видны были изменения города: там выведены стены нового здания, здесь снесены в вечность развалины древней улицы. В двадцать пятом году в Сталинабаде не было ни одного европейского дома; ныне — это город европейских улиц, зданий с колоннами классицизма ЦИКа и педтехникума, домов, ставших на дыбы стиля века двадцатого, рабочих поселков в палисадах, оркестровой ротонды в городском парке, театра, цирка, площадей, — это я видел с неба, как не видел с неба ни единой церкви и ни единого медресе: этот город возник во времена когда ни церкви ни медресе не строятся.

На земле я узнал, что этот город надо воспринимать именно с самолета. Этот город, который принимает все меры, чтобы стать европейским (электричество, гравийные мостовые, асфальт, парки, аллеи вдоль улиц, театр, симфонические концерты, водопровод — закончены к октябрьской годовщине 1930 года), все же не есть город, но есть табор — пусть европейский. Сталинабад строится молниеносно, но Сталинабад каждые полгода удваивает свое население — прогрессией геометрической, и никакое строительство не может угнаться за людьми, а поэтому действительно иные учреждения расположены под чинарами, где вывески учреждений прибиты к стволам чинар, равно как тысячи людей также живут под чинарами или в палатках.

В первый мой прилет я заночевал у спутника с самолета инженера Суббочева, который, так же как я, впервые прилетел в Сталинабад, но прилетел служить

там и сразу получил квартиру в только-что отстроенном доме общежития Главхлопкома. Суббочеву отвели квартиру из двух комнат, террасы и кухни. На дворе мы нашли бидоны из-под бензина: это была первая мебель, которую мы втащили в запахи заново построенных комнат. Но спали мы на газетах.

Во второй мой прилет я жил у товарища Гильмана, врид секретаря ЦК КП(б)Т. В его трех комнатах жило наехавших вроде меня и приехавших работать в Таджикистане но не устроившихся — шесть человек, причем сам товарищ Гильман выселился за теснотой от нас на террасу. Я располагал у товарища Гильмана одеялом в качестве матраса (газеты я клал под матрас), но подушки у меня не было.

В третий мой прилет товарищ Гильман был так перенаселен, что я переселился в столовую товарища Случака, у которого посторонних людей было только пятеро (кроме бесконечного числа людей приходивших по делам под окошко на террасу и на кухню, наркомов и ответственных работников, обсуждать дела с зампредом совнаркома, лежавшим в бинтах после падения в Каратегине).

Весь город в строительстве. Когда через два месяца я уезжал из Сталинабада, многое из строящегося при мне было закончено, но город попрежнему пребывал строящимся, ибо новые и новые закладывались дома и улицы. И город пребывал в перенаполнении.

Сталинабад есть столица таджикского Клондайка. Сталинабад переполнен людьми. Эту главу я посвящаю городу и людям, и я сразу открываю свои карты — призывом:

— Все, кто хочет по-настоящему работать и творчествовать, кто хочет видеть им же соделанное, кто

хочет быть подлинным социалистом, кто честен и не попирает и не позволяет попираеть в себе человеческое достоинство, — поезжайте работать в Таджикистан! Рабочие! Инженеры! Врачи! Агрономы! Нигде в Союзе я не видел такого бережного отношения к людям, как в Таджикистане, и, кажется, нигде в Союзе нет такой нужды в людях, как там.

У меня есть только одна оговорка: те, кто едет в Таджикистан, должны быть честными!

Ибо надо не скрывать, что в Клондайк понаехало больше чем следует жулья, никчемников, бывших, самозванцев, беженцев за длинными рублями, рвачей, — ибо надо сказать, что в этой богатой стране самое ценное — честность и честность умеют ценить; все это касается, разумеется, европейцев.

Сталинабад есть столица таджикского Клондайка. В Клондайк собираются люди со всего света. На улицах Сталинабада, около дома декханина, на Ленинской площади, в переулочках вокруг базара, переполненных людьми, вы встретите белохалатого индуса, казака в овчинных штанах, бело-громодно-папачого тюрка, чалматого афганца, кроме таджиков, осетин, черкесов, грузин, татар. В толпе ходят русские в брезентовых сапогах, в тропических шлемах.

Я пишу о негативных сторонах Сталинабада.

Вокруг базара в переулочках расположены трактирчики и лавочки похожие на притоны, заваленные всяческими колониальными благами и глупостями.

В первый мой вечер Сталинабада я был в таком трактирчике. Мы прошли в него через разломанное дувало. Стены трактирчика образованы были из цыновок; потолком были небо да тэнт. Выпитые бутылки бросались в темноту за цыновки. Трактирчик

был переполнен. За прилавком красовалась на самом деле красивая женщина, кустодиевская трактирщица. Пьяных было больше чем трезвых. Под тэнтом висели электрические лампочки. Струнный оркестр, сопровождаемый пианино, играл есенинское «Письмо к матери». Оркестру подпевали пьяные голоса. Нам подали шницели с эстетическим гарниром: посреди подноса красовалась свекла, вырезанная наподобие розы и освещенная изнутри свечою. Скатерти на стол не полагалось. На каждом стуле сидели по-двое. Вдруг сразу — я даже не знаю как рассказать — раздался выстрел. «Письмо к матери» взвизгнуло и смолкло; люди закричали на десятке разноязычий; несколько рук протянулось к руке, зажавшей браунинг над головами вскочивших; неподвижная кустодиевская хозяйка глазами приказала задвинуть железной решеткой дверь (чтобы не ворвалась милиция); потухло электричество. Все это произошло моментально; через минуту все было попрежнему: два громадных осетина вежливо тащили на руках и над столиками мертвецки пьяного человека и выволокли его вон из трактира не в главный вход, а в незаметную щель между цыновок. Оркестр заиграл «Ответ матери»; за соседним столиком блаженно плакал от музыки длинноусый, безбородый и лысый старец в тропическом шлеме и в круглых очках, явно славянского происхождения.

Однажды под Сталинабадом на товарища Случака и на меня напали бандиты. Мы возвращались на автомобиле из Варзобского ущелья (где строится вместо оврингов и тропы Александра Великого автомобильное шоссе; где строятся: больница, школы для кишлаков, склады Азияхлеба, шелковичные пи-

томники, санаторий, — санаторий по климатическим своим данным превосходящий Давос!). Ни у шофера ни у нас не было с собою оружия; на нас напали двое всадников, русских. Лошади бандитов были отличны. Сейчас длинно рассказывать, как мы отделились от нападения: бандиты были задержаны милицией; у одного из них нашлись — фальшивый документ, 10.000 рублей и наган; у другого никаких документов не было, но были 7.000 рублей и бульдог.

В Варзобском же ущельи, где динамитом рвут дорогу, в одной из рабочих партий возникли беспорядки. Из Сталинабада приехала комиссия. Рабочие жаловались на условия работы, на всяческие недостатки, бузотерствовали, отказывались работать, — на завтра было назначено общее собрание. Вечером один из членов комиссии, проходя в мраке мимо рабочей палатки, услышал французскую речь: двое, одетые завзятыми пролетариями, называли по-французски друг друга превосходительством и благородием и обсуждали, как они будут выступать наутро на общем собрании, чтобы повести за собою рабочих.

Мне известна судьба одного инженера, который (в Таджикистане нет карточной системы) на восемь тысяч рублей накупил шелковой материи и повез ее в Москву.

В Сарай-Комаре я был свидетелем ареста начальника милиции, который, приехав в Сарай, поступил милиционером, выслужился там до начальства и был арестован потому, что он оказался преступником, скрывшимся от суда в РСФСР, убившим в РСФСР жену, изнасиловавшим девочку и укравшим казенные деньги.

Сталинабад — пыльный, перенаселенный город. В Сталинабаде часто слышится музыка похоронных

маршей. Тифы (брюшной и персидский), малярия, папатадж здорово работают в Сталинабаде. Больницы в Сталинабаде переполнены больными. Под Сталинабадом есть кишлаки прокаженных. В Таджикистане есть кишлаки, где люди сплошь хворают базедовой болезнью, — это там, где люди пьют ледниковую обессоленную воду; и есть кишлаки, где люди сплошь страдают камнями в почках, — это там, где люди пьют соленую воду. Мне известен эпизод, когда в Кулябе был разоблачен врач-самозванец, оказавшийся вовсе не врачом, а... мясником!

А в городе Гарме комиссией товарища Случака установлено, что начальником водхоза был старик-инвалид, инженер-теплотехник, пенсионер, помощниками ж его — участковыми техниками — ирригаторами — были: фельдшер, официант и наездник!

В горном Таджикистане, на границе Каратегина и Дарваза, в Тоби-Дара я встретил врача, который одновременно был телеграфистом: аппарат Морзе и прочие телеграфные принадлежности помещались в кабинете врача, у него на квартире. Сам по себе этот факт отрицателен, но он указывает, как недостает людей, — врач же взял на себя телеграфирование в порядке общественной нагрузки.

Но мне известны другие факты.

Я встретил в Кулябе врача, который специализируется на изучении базедовой болезни. Этого врача надо назвать счастливейшим человеком. Он делает дело, которому посвятил жизнь. Он говорил, что в Германии есть знаменитый профессор, единственный на земном шаре оператор-базедолог; кулябский врач надеется через несколько лет знать и уметь больше, чем профессор-немец. Этот врач двигает на-

уку. Таджикское правительство всемерно идет навстречу этому врачу.

А в Ура-Тюбе я встретил другого врача, который показал мне коллекцию почечных камней, вырезанных им. И этот врач, так же как базедолог, счастлив своею работой: он изучает — и он делает, и ему помогают изучать и работать.

В Ходженте есть эфиромасленный завод, производящий душистые эссенции, масла, духи, — завод, как все заводы, с цехами, с машинами, с лабораториями. При этом заводе имеется плантация эфироносных растений, где сейчас растут лаванда, амброзия; где в этом году расцвела, впервые должно быть в СССР, Виктория-регия, — у этого завода семимиллионный бюджет, директорствует на этом заводе инженер-химик В. С. Исаев. Так вот, три года тому назад этого завода не было в Ходженте; три года тому назад в ходжентский исполком пришел инженер Исаев и сказал, что ходжентские субтропики есть исключительнейшее место для построения эфиромасленного завода. Инженеру Исаеву дали денег; он приступил к никому неизвестной алхимии. Ныне завод единственен в СССР, и завод, как написано в отчете, оказавшемся у меня, «имеет целью сократить импорт эфирных масел, а некоторых прекратить путем удовлетворения потребности рынка СССР за счет социалистического производства ТаджССР». Пусть каждый, кто умеет любить свое дело и честен к труду, представит себе счастье инженера Исаева, когда под его руками родился завод и расцвела Виктория-регия; это счастье Исаеву дал социалистический Таджикистан.

И я повторяю еще раз: нигде в СССР я не видел

такого уважения к инициативе, к труду, как в Таджикистане, в этой стране, строящейся наново, где каждый делающий неминуемо становится новатором, пионером, зачинателем, в этой стране, где все надо начинать от нуля, и где, за жульем и проходимцами, за длинными рублями, самым ценным чтут честность.

С жульем в Таджикистане расправляются круто.

И как в Таджикистане не хватает людей!

Я говорил о манере жить товарищей Гильмана и Случака; позвольте добавить, что эти люди, как сотни других, виденных мною в Таджикистане, встают в семь утра и засыпают в два ночи, работая, работая и бодрствуя, бодрствуя, бодрствуя, потому что они, как никто больше, знают концы и начала строительства Таджикистана; они строят и они знают, как дорога, как невозвратима каждая минута строительства — строительства социализма на земле средневековья. Это под их руками и под руками тех, кто работает с ними (а каждому работающему — воля: делай! делай! делай!), возникают новые ирригационные системы, новые тысячи га хлопчатников, эфиромасленные заводы, разработки золота, каменного угля, нефти, азбеста. Это они перестраивают человеческие отношения, уничтожая баевщину, варварство, шариат, перестраивая право на труд, строя колхозы, когда размер посевных площадей с двадцать девятого года на тридцатый вырос на девятьсот процентов, а товарная продукция — на тысячу триста процентов, и когда первый колхоз возник только в двадцать восьмом году. Это они вместо базаров строят кооперацию. Это они из пыли и пепла войны со средневековья строят европейский город Сталинабад, где нет ни одной мечети и ни одной церкви. Это

они по всей стране, вместо мечетей, строят европейские школы.

Народный комиссар просвещения товарищ Нисар Муххамедов пишет арабским шрифтом, не умея писать по-русски и почти не зная русского языка; родом он из Индии, по крови афганец, — да простит мне товарищ Нисар, — это один из умнейших людей, которых когда-либо я встречал, и один из образованнейших! Я писал в главе о горном Таджикистане о девушке, которая шла с Памира в знание, сравнивая ее путь с путем рождения реки, — товарищ Нисар командует такими девушками и юношами — их сотни вокруг него: октябрят, пионеров, комсомольцев. Товарищ Нисар командует не только ими: в августе этого года был первый всетаджикский съезд лингвистов, положивший первый камень науки о таджикском языке. Под командой товарища Нисара выходят семь газет, но речь сейчас не о товарище Нисаре, но о Сталинабаде и молодежи. Сталинабад можно назвать городом молодежи и школ, и это название будет правильным. Девушки и юноши с Памира, с долин, из садов западного Таджикистана учатся в школах, в техникумах, в педтехникумах (чтобы самим стать учителями, которых не хватает), на тракторных курсах, на железнодорожных, на автомобильных, сельскохозяйственных, счетоводных, в совпартшколах... И юнгштурмы комсомольцев красные галстуки пионеров — среди халатов старины — суть самый частый костюм на улицах Сталинабада.

Дом редакций города Сталинабада — копия дома Наркомпроса. Газеты оттуда идут во все концы Таджикистана, но в этот дом идут люди, которые делают литературу: и в Таджикистане есть уже своя литература.

Вот отрывки из стихов Пайрови Сулеймони, в переводе с таджикского С. Климчицкой, — «Индостан»:

Отчего у индуса так тело черно?
В горе траур по Индии носит оно!
Гнет, насилие, кары, злодейства, обман,
Унижения, хитрости, брань и тюрьма
Словно бурный поток залили Индостан.
Там растет, вместо зелени, смерть и чума.
Дел минувших страниды величья полны!
Удивление родит оставленный след,
Полный доблести, гордости славной страны,
На чьи плечи прилег Гималайский хребет.
Тех страниц обаянье поныне сильно.
Их культура оставила по миру след.
Много книг, и наук, и искусств создано
Той страной до нас за три тысячи лет.
Тростники, вырастая, лютют сахарный сок.
От него у других, пьющих, губы в меду.
Клад страны — жемчуга, златоносный песок . . .

Страна пленена у британского льва.

Осторожно! вновь вспыхнет огонь мятежа.
Гибло много сипаев на этом пути.
Горы, камни, траву — все спалит его жар
И врага вместе с ними в золу превратит.
Отчего ж у индуса так тело черно?
В горе траур по Индии носит оно!

Мне говорили, что перевод сделан плохо; и суть не в этом, хотя эти стихи надо было бы перевести как следует, — таких поэтов уже много в Сталинабаде, и у них есть своя общественность, свои течения, подлинная литературная жизнь, подобно тому, как в студиях около Дома декханина собрались артисты, музыканты, певцы, собирающие, восстанавливающие, создающие таджикское искусство.

Таджикские писатели опубликовали свой манифест:

КТО С НАМИ — К НАМ!

К строителям седьмой союзной республики, к борцам за социалистическую культуру, к работникам Таджикистана, строящим свою практическую деятельность так, чтобы учась, организуясь, плачась, борясь воспитывать себя и своих соратников по борьбе и строительству, к товарищам, посвящающим свой досуг перу, обращаемся сегодня мы.

Мы — это молодые таджикские и русские литературные зачинатели большого дела, дела организации пролетарской, по существу и национальной по форме литературы Таджикистана и о Таджикистане.

Мы стремимся отразить пафос социалистического строительства в Таджикистане.

Ряд глубоких реконструктивных процессов проходит сейчас в Таджикистане: коллективизация декханских хозяйств, еще недавно отгороженных от социалистического строительства высоким дувалом освященной Кораном замкнутости и ограниченности, происходящая на фоне все обостряющейся классовой борьбы; индустриализация Таджикистана, строительство фабрик, заводов, гидростанций, железных и шоссейных дорог, мостов, вытеснение омача трактором и плугом, превращение Таджикистана в хлопковую базу и образцовую республику у ворот Индостана; новая школа, книга и газета в кишлаке, фактическое раскрепощение женщины-таджички. Таковы, в основном, те исторической важности процессы, которые происходят сейчас в Таджикистане. Все эти процессы неотложно требуют своего отражения в полноценном художественном слове.

Все разворачивающаяся классовая борьба в городе и кишлаке, специфические формы этой борьбы, растущая активность батрацко-бедняцких и середняцких масс, вопросы производственной смычки, ее успехов и недостатков, внедрение в жизнь кишлака и города новых форм социалистического труда (соревнования, ударничества и т. д.) — также требуют литературно-художественного отображения.

Создать полнокровную национальную литературу — задача не легкая.

Без организации всех начинающих литературных сил, без опоры на массы, без систематической работы по самовоспитанию, без самокритики в творчестве, без руководства со стороны партии этим большим начинанием мы не сможем создать литературу Таджикистана и о Таджикистане.

Поэтому мы призываем всех начинающих писателей, всех читателей, имеющих желание не только читать, но и творить, всех, кому дороги интересы пролетарской, национальной лите-

ратуры, примкнуть к нам и принять деятельное участие в нашем начинании.

Усилить работу по созданию литературы в Таджикистане, по сплочению всех разрозненных литературных сил обязывает и гибкость классового врага. Классовый враг пролезает во все щели и щелочки нашей социалистической стройки, стремясь подорвать ее основы, основы диктатуры пролетариата.

Тематикой очерков, стихов, повестей и рассказов и т. д. для нас и всех, кого мы зовем к дружной совместной работе, участников и свидетелей славной эпопеи борьбы и строительства, революционной героики наших дней, должна быть местная тематика, отражающая те веские реконструктивные процессы, которые происходят у нас в Таджикистане — на рубеже колониального Востока.

Вокруг Сталинабада — он лежит в долине — стали горные вершины, покрытые вечным льдом, седое величие космоса. В этом году летом в Сталинабаде были работники ГОТОБ (союзного гос. театра оперы и балета): они собирали музыку и танцы Таджикистана, чтобы поставить в Москве, в Большом Театре, таджикскую вещь под названием «Горы тронулись».

Да, горы тронулись. Пять лет тому назад в Сталинабаде не было ни одного европейского дома, не было ни одной арбы — ныне даже горы обеспокоены строительством. С самолета, с неба видно, как перестроена, перестраивается вся Гиссарская долина, где лежит Сталинабад. В средневековьи и в горах кричит поезд — веером от Сталинабада в горы идут автомобильные дороги; через реки строятся и построены мосты, в горах строятся школы, больницы, дома отдыха, санатории. Над Сталинабадом стоит пыль строительства, ночами горы видят необыкновенное — как светится, как горит электричеством Сталинабад; горы долго кидаются паровозным эхо. Но город Сталинабад не спит даже ночами. В колоссальном и прекрасном напряжении строительства социа-

лизма, когда за щебнем и мусором (людским, в частности) возникают ежемесячно новые улицы, новые дома, новые дела и новые человеческие отношения.

ТАДЖИКСКИЕ КЛЮЧИ

И есть третий Таджикистан, кроме горного и долинного.

Этот лежит к северу от Сталинабада и называется Таджикистаном Западным. Он никогда не был Бухарою, отделенный от первобытности эмирских колоний ледниками и арктикой Гиссарского, Зеравшанского и Туркестанского хребтов. Он омывается водами уже на Аму-, но Сыр-Дарьи. Его столица — Ходжент, город садов, шелка и истории. История таджиков этой страны отлична от первобытности гор, и история очень древня, как древен город Ходжент, — города Каннибадам, Ура-Тюбе.

Город Ходжент древен и обилён прекрасными памятниками старины, как Самарканд. Город этот известен за две с половиною тысячи лет до нашей эры. Город менял имена вместе с историей: он назывался Кир-эсхата в честь персидского Кира, Александрия-эсхата в честь македонского Александра. Арабы в восьмом веке нашей эры назвали этот город Худжандой. Восточные историки называли Ходжент «невестою государств». Все в этом городе говорит о древности — улицы, мечети, развалины дворца, и этот город бросает мысли в раздумьи о судьбах Стамбула, Смирны, Яффы, Бухары, Самарканда, похожих на него и имевших общую с ним историю — историю магометанской культуры, ныне умирающей.

Ныне Ходжент — город садов и шелка, как и вся

страна, лежащая вокруг него, богатейшая, древняя и нищая, эта страна, более похожая на Фергану, чем на Таджикистан подлинный. Я б опустил в моих очерках Таджикистана Ходжент, если б он был только «жемчужиной» Таджикистана, как его там считают, и я пишу о нем потому, что он есть не только «невеста государств», но и ключ «государств».

Мои дни были очень напряжены в этой стране.

Я пробирался туда дрезиной от Сталинабада до Термеза, аэропланом от Термеза до Ташкента, поездом от Ташкента до Ходжента. От станции Ходжент до города, до реки Сыр, двенадцать километров субтропических садов и древности. Я остановился в древнем переулке, на коврах товарища Хассанова, литератора и европейца, отец которого ни разу не вышел ко мне, кафыру, а брат и сестра говорили о мировой революции и русской литературе. Автомобиль бросил меня в Ура-Тюбе — садами, садами, садами, древностью и шелком, шелком, шелком. Сменив часы бодрости полуночью отдыха на обратном пути в тишине дома товарища Хассанова и сменив автомобиль, я поехал в Канибадам (Город миндаля) опять садами и шелком, горами сушеных фруктов и дынь у складов «Флодопереработки» и специфическим, распаренным запахом варимых шелковых коконов. Канибадам мне запомнился, кроме древности, громадною фруктовою фабрикой.

За Канибадамом идут выжженные солнцем горы.

Автомобиль понес нас в них — на Санто, на Сантоиские нефтяные разработки. Мы должны были из Санто ехать дальше — в Шураб, на Шурабские каменноугольные копи.

Но в Санто мы разбили машину, а со мною...

Тот, кто не знает азиатской малярии, тому мне не удастся рассказать. В припадках малярии весь мир становится горьким: горькое солнце, горькая земля, горький хлеб, горькая вода — все горько, как хина. Дни от Сталинабада, когда дни уходили на то, чтобы видеть, а ночи оставались для передвижений, все вдруг, сразу спутались. В Шурабе я не был. Санто я запомнил убитыми нефтью землями, нефтяными вышками, нефтеперерабатывающими заводами, рабочим собранием, разговорами в рабочем бараке, промфинпланом, знанием, который для меня превращался в нестерпимый холод озноба, гораздо более страшный, чем на ледниках перевала. Меня отвезли в Канибадам, на фруктоперерабатывающий завод. Завод, на котором работало до тысячи таджикских женщин, заваленный мешками фруктов, залитый электрическим светом и дышащий дыханием машин, как все заводы, спутался в моих ощущениях малярией: когда я, в заводской конторе, на походной кровати, поднимал от подушки голову, я видел реальность — заводский двор, палисад, штабеля фруктов, корпуса цехов, — в бреду спутывались пространства, время; физическая боль разламывала, раскалывала голову и завод вдребезги, завод опускался в горечь хины и в холод перевалов. Бреды описывать здесь не место. Наутро меня отвезли к железной дороге, поезд отнес к станции Ходжент. Новой ночью меня свезли к ташкентскому поезду, чтобы в Ташкенте в меня вливали громадными шприцами раствор хины.

И тем не менее:

Город Ходжент есть город ткачей и делателей шелка, среднеазиатская Брусса и среднеазиатский Иваново-Вознесенск одновременно, и город Ходжент

есть город садов. И все это есть в Таджикики. Манчестер и Бруссу я беру образами: Брусса есть древность и кустарничество, Манчестер есть машина. Старый Ходжент есть город глиняных улиц, когда на улицу не выходит ни единого отверстия, кроме низенькой двери. За стенами на каждом дворе обязательно квадратный двор, несколько деревьев тут, арык, две террасы двух половин дома, женской и мужской, и на каждом дворе есть третье помещение, полутемное и сырое, обязательно сырое, чтобы шелк волгнул, помещение, где стоят кустарные ткацкие станки и станки для разматывания и скручивания шелка. В этом брусском Ходженте живет несколько тысяч ткачей-кустарей. Веснами женщины носят под мышками грону — яички шелкового червячка, похожие на маковые семена. Теплом подмышек женщины греют грону, чтобы она ожила. Тогда, когда из грены возникают микроскопические червячки, их кладут на пол, на доски, на рамы в домах, всюду, куда можно положить; их покрывают листьями тут, для них топят печи, если недостаточно тепло; люди выселяются из домов на эти дни, когда растут червяки. Червяки едят тутовый лист и растут ежечасно. Они миллионами ползают по человеческим жильям. Иногда они миллионами дохнут от повальных болезней: тогда люди плачут над их трупами как над пепелищами, но здоровые червяки, объев все тутовые деревья, повисают на потолке, на прутьях тут, на рамах — всюду, где можно повиснуть; червяки, выпускают из себя шелковую паутину и закутывают себя ею.

Жилья людей превращаются в арктические пещеры, когда иней коконов, выкрасив жилье в белое, в зное субтропиков напоминают шелковый иней мо-

роза. Когда червяки окончательно закутаны в шелк своих коконов, люди начинают дело смерти: с осторожностью матери женщины собирают коконы, миллионы жизней, эти миллионы жизней кладутся на противни и убираются в печи, чтобы там на медленном жаре умерли и высохли червяки, создавшие шелк.

За делом смерти начинается дело мужчин. Мужчины, уже артелями, в глиняных и в чугунных котлах варят, распаривают убитые коконы. В те дни над Ходжентом стоит удушливый запах распаренного шелка. С ловкостью фокусников мужчины вылавливают в котле одну, две, семь шелковых ниточек, поддевают их на крючки, крючки отдают шелковинки веретену, — веретено вертится: и в воде кружатся, спешат размотаться мертвые коконы. Так день, два, три, пока не размотаны все коконы. Семь шелковинок создают шелковую нитку. Эти семь шелковинок мотанные на веретено, переносятся к другому, от древности пришедшему, станку, на котором шелковинки скручиваются, сучатся, окончательно превращаясь в годные к ткачеству нитки. Затем их красят. И тогда их или растягивают на ткацких станках в виде основы или перематывают на челноки.

На станках ткутся чалмы, материи для халатов и женских платьев, платки, покрывала для одеял, пестрые азиатские ткани, древность, известная миру не меньше, чем брусские шелка. Те, кто кормят червей и ткют шелк, не носят шелка: эти люди хворают чахоткой и слепотою. Имена иных ткачей в Ходженте надо перенести из цеха ткачей в цех художников, но труд этот нищ и жесток.

Сейчас этот труд побратался с кооперацией, перерастает в артели, и тем не менее он умирает. Если

у него уничтожен враг-скупщик, враг-кредитор, то у него остался и растет и сильнеет враг — знание, враг-культура.

В Ходжете есть завод, который похож на лабораторию университетских клиник, — гренажный завод. Центральный цех этого завода есть громадный зал, где сотни микроскопов контролируют грену. На этом заводе отбирают лучшие коконы. В светлом зале, в комфортабельности, на этом заводе из коконов рождаются бабочки. Бабочку-самца и бабочку-самку сажают в отдельную марлевую клетку. Бабочки любят. Бабочка-самка кладет семена — яички, грену. Бабочки умирают. Марлевая клетка складывается и — в первый раз — идет под микроскоп, где, занумерованная, рассматривается под микроскопом эта мертвая чета, оставившая жизнь в семенах, — порода бабочек, их сложение, их здоровье, их индивидуальности; здесь же рассматривается их потомство, его количество и качество, эти тысячи яичек, оставленные парой бабочек. Больные марлевые тряпочки уничтожаются. Здоровые марлевые тряпочки идут в следующий цех: там собираются яички, сортируются и изучаются вновь. Когда яички рассыпаны по мешечкам, по породам, по возрастам, по качествам, они идут вновь под микроскоп. Затем эти яички — грена, созданная заводом, — идут жить.

Они отправляются на новые заводы, где для грены, а затем для червяков, приготовлено все, чтобы червячку было тепло, чтобы он был сыт и имел место повеситься. На этих заводах сушатся коконы, распариваются затем и разматываются машинами под контролем термометра. Машины здесь обезличивают коконовую смерть, машины отсылают коконовую нить

на ткацкие заводы, где машиноюдвигаемые челноки ткнут многожды лучшие чалмы, материи для халатов и женских платьев, покрывала и знаменитые уже по Средней Азии ходжентские платки.

Гренажный завод, шелкосушильные и шелкомотальные фабрики, ткацкую фабрику в Ходжете создала советская власть. Женщины в Ходжете на улицах ходят в паранджах. На фабрике и на гренажном заводе (на гренажном заводе — над микроскопами) работают только женщины — без паранджей. Иваново-Вознесенск не только побивает Бруссу, но он же снимает с женщин паранджу.

Ходжент — Ура-Тюбе — Каннибадам (Город миндаля) суть сплошные сады. Эта страна, «невеста государств», окруженная со всех сторон горами, защищенная от холода севера и от палительного зноя юга, создана природою для виноградных, персиков, гранатов, урюков, дынь, миндаля, фисташки. Эта страна подняла перчатку природы, и эта страна есть сплошной сад, сад виноградных, персиков, гранатов, урюков. В Ходжете говорят: приходите ко мне не домой, но — в сад. Ходжентские сады древни и прекрасны. В виноградных лабиринтах, когда над твоею головою свешиваются виноградные кисти, можно жить днями, блуждая и блаженствуя. Эти сады древни потому, что урюк, богатство, расцвет сил имеет в столетнем возрасте, и девяностолетние урюковые сады считаются молодыми. Эти сады отнимают громадное количество труда, внимания, и они обязывают к знанию садовой культуры; эти сады могут жить только водою, пролитой арыками.

Что сделали последние десять лет садам и людям, около садов живущим? — в Ура-Тюбе построен вино-

делательный завод. миллионы виноградных гроздьев отдают свой сок вину, и этот сок растекается по проходе подвалов — не только Ура-Тюбе, но и всего Союза; в Канибадаме построен (строили по американским образцам и принципам) фруктоперерабатывающий завод; на этом заводе работает до тысячи таджичек; этот завод машинами сортирует, чистит, моет и сушит фрукты, и его продукция идет не только Союзу, но и Англии, Норвегии, и Германии, и Ближнему Востоку. Но этот же завод перестраивает человеческие отношения в домах канибадамцев, когда женщины-жены приносят домой деньги и профсоюзные билеты; в Костакосах построен консервный завод, персики, груши, абрикосы которого также идут по Союзу и на Запад; но помимо этого в каждом кишлаке, в каждом городишке есть отделение фруктовой кооперации, когда кооперация не только собирает фрукты, чтобы рационально продать, когда она кредитует, помогает знанием, снабжает всем нужным и правом на труд; кроме этого есть садовые колхозы; сейчас строятся садовые совхозы, вооруженные машинами, агрономами и знанием агрономов.

На Сангоисские нефтяные промысла советская власть шлет новые машины, и советская власть сделала нефтепровод до железной дороги.

На Шурабские каменноугольные копи советская власть шлет новые машины, и советская власть провела ветку от копей до железной дороги.

Город Ходжент — древний город, бывший некогда и Кирополем и Александрией. В этом городе древние медресе и мечети. В этом городе есть чтимые «священные» места. Три таких святых места расположены по прямой линии, три могилы святых, на

равном расстоянии друг от друга. Мне рассказывали причину такого расположения святых мест: жили два святых старца и оба они педерастически влюбились в некоего прекрасного юношу; сей некий юноша, впоследствии ставший святым, страсть старцев разрешил следующим образом, а именно: он поселился как раз на середине пути между квартирами старцев, чтобы старцам приходилось проходить одинаковый путь; старцы распределили между собою дни посещений сего некоего юноши; все обошлось прекрасно, все трое со временем померли и сделались святыми. На могиле одного из этих педерастов я был и должен сказать, что могилы их пребывают в запущенности и разрушении. На этом могильном дворе странным образом поселилась русская, должно-быть очень бедная, семья, и хозяйшка, после стирки, развесила по двору богатые свои нижние одеяния мужские и женские. Археолог сказал бы, что могила прекрасна по своим архитектурным качествам.

Ходжентский замок полуразвален, и там сейчас сельскохозяйственный техникум.

В Ходжете есть эфиромасленный завод. Духи! запахи!..

Я подхожу к ходжентскому «ключу», который никак не есть ключ к ходжентскому «замку».

На ура-тюбинском винном заводе, на ходжентских заводах (на шелково-текстильной фабрике работают полторы тысячи человек, и двести пятьдесят человек фабрика отослала в Москву и в Иваново-Вознесенск — учиться ткаческому мастерству), на костакоских и канибадамских (и фруктовых, и кожевенных) заводах, в Санто, в Шурабе таджики из крестьян превращаются в пролетариев, все определяя и

предопределяя этим, ибо законы истории так же железны, как законы химии.

В Ходжете есть эфиромасленный завод; там расцвела в этом году, впервые в СССР, Виктория-регия. Духи! запахи! — запахи есть самое непознанное, самое неясное, что действует на человека, бросая человека в эмоции, в подсознательные ощущения, в «лирику». Писателями написаны томы ощущений, вызванных запахами, и томы историй, предопределенных запахами, — эти истории упираются в литературу порядка Пьера Лоти. От древности среди людей живут полумаги, устраивающие запахи: в Стамбуле, в Смирне, в Каире есть позеленевшие в веках перелючки, где старики таинственно переливают из одной древней посудинки в другую древнюю посудинку капли розового масла из Дамаска, смешивая их с семенными вытяжками оленей, называемых мускусными. Эти дела могут показаться священнодейственными: о мускусах, о лавандах, об амброзиях, о полиантусах-туберозах можно услышать длиннейшие легенды, предания и достоверности.

Духи! запахи! — непознанное, полуощутимое!..

История возникновения ходжентского эфиромасленного завода рассказана выше. Сейчас я ознакомливаю с технологией создания запахов, чтобы разрушить легенду стамбуло-каирских, по-просту говоря средневековых, метафизик. Цитаты принадлежат докладу инж. Исаева.

Получение эфирных масел из растений происходит путем перегонки их с водяным паром в измельченном виде в перегонных аппаратах при давлении поступающего пара в 2,5—3 атмосфер. Время, потребное для полного удаления масел из растений, в среднем 3 часа.

Травы поступают в отделение резки, где подвергаются измельчению на трех соломорезках.

Переработанные растения по нижней ленте конвейера переправляются обратно в помещение резки для переработки на брикеты, применяемые силовой станцией завода в качестве отопительного материала.

Суточная производительность... в переработке на масла 21.000 кило растений.

Некоторые из эфирных масел для применения в промышленности требуют ректификаций, отделения спиртов, терпенов, кетонов, альдегидов и пр.

Получение бензольных эфиров сводится к получению хлористого бензола путем хлорирования при температуре 65—70°.

Аппараты изготовлены фирмой «Август Христ» в Берлине.

Очень просто! никакой магии и метафизики, но — чистейшая химия.

Я был на этом заводе: в одном месте на нем по этажам ездят пуки вяленой травы (не знаю ее имени, но такой, которая растет в Ходжете у каждой канавы), в другом месте женщина в белом халате переливала для меня из склянки в склянку какие-то этиловые, бензоловые и прочие непонятные масла и эфиры, иной раз препаршиво пахнущие, и из их запахов возникали всяческие мускусы, амбры и прочие древневековые запахи, которыми торгуют стамбульские и каирские чародеи. Фирма «Коти» была бы не прочь купить ходжентские эссенции. Средневековая алхимия запахов, эмоционального, бросающего в подсознательное, делается сейчас, вываривается, выпаривается на заводах.

Выше я писал о припадках малярии. В те минуты, когда температура идет вверх, к сорока, к сорока и пяти десятым, даже хорошо на минуты чувствовать то нестерпимое тепло, тот жар, за которым в бреду возникают ощущения, куда более невероятные, чем те, которые даются запахами. Температура при малярии с 40 до 35 падает в какие-то несколько минут, — озноб тогда ужасен.

О малярии я написал не случайно, как сознательно я выписывал подробности производства шелка. И не случайно я делал выписки из доклада инженера Исаева о рождении запахов. Я говорю о таджикостанском «ключе». Кому, как иным, быть-может, нравятся малярия, крик муэдзинов, паранджа, средневековая метафизика запахов и замков, — мне больше нравится знать, что запахи делаются из этиловых, метиловых и бензоловых масел и эфиров, а малярия излечивается медициной. Законы истории, есть социальная химия, которую можно знать и можно не знать: ведь на самом деле в древности убивали мускусных быков и оленей, а малярию заговаривали знахари!

Сивобородые старцы, незнание, крик муэдзина, экзотика, жесточайшая несправедливость труда, неуважение к труду и к человеку, бездорожье и путь по оврингам на библейских ишаках, библейская пыль, библейская бедность, библейские базары — какие древние «запахи», какое «подсознательное» назначение!

Я приехал в Таджикистан — в ветер, в Афганец: об этом сказано.

Советская власть в Таджикистане есть тот химический завод, который строит химию истории. Эта химия проста как математика и непонятна лишь так, как математика, для тех, кто математику не знает. Химия таджикской истории есть тот ключ, которым я заканчиваю мои главы. Эта химия проста: знание и разумность, и знание права трудящегося быть хозяином. Но ветер Афганец не случаен в Таджикистане: этот ветер есть ветер темпов. Человеческую историю делает в Таджикистане химический завод социализма.

Цена 1 р. 05 к.
переплет 30 к.

СКЛАД ИЗДАНИИ:
КНИГОЦЕНТР ОГИЗ'А
ТИР · N°164.

МК